

**ЖИЗНЬ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ**



ЖОРЖ САНД

**НАТАЛИЯ
ВЕНКСТЕРН**

ЖУРНАЛЬНО-ГАЗЕТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

- [Наталья Алексеевна Венкстерн](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)
 - [Глава одиннадцатая](#)
 - [Глава двенадцатая](#)
 - [Глава тринадцатая](#)
 - [Глава четырнадцатая](#)
 - [Глава пятнадцатая](#)
 - [Глава шестнадцатая](#)
 - [Библиография](#)
 - [Список произведений Жорж Санд](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
-

Наталья Алексеевна Венкстерн Жорж Санд

Посвящается Любови Евгеньевне Белозерской

СЕРИЯ БИОГРАФИЙ

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

ВЫПУСК X

ЖИЗНЬ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Н. ВЕНКСТЕРН
Ж О Р Ж С А Н Д

под общей редакцией

М. Горького, Мих. Кольцова, А. Н. Тихонова

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: М. Горький, акад. С. И. Вавилов, проф. Б. М. Гессен, проф. И. Э. Грабарь, М. Е. Кольцов, Н. В. Крыленко, А. В. Луначарский, проф. А. П. Пинкевич, Н. А. Семашко, В. М. Свердлов, А. Н. Тихонов, проф. А. Н. Фрумкин, проф. О. Ю. Шмидт.

В КНИГЕ 10 ИЛЛЮСТРАЦИЙ

ЖУРНАЛЬНО-ГАЗЕТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
МОСКВА 1933

ЖУРНАЛЬНО-ГАЗЕТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
МОСКВА 1933



Глава первая

Корамбе

Гнев старой мадам Дюпэн против сына был предметом обсуждения во многих стародворянских салонах. Княгини и графини, сумевшие спасти свои головы от ножа гильотины, сделались после революции неумолимы в принципиальных вопросах. Старая мадам Дюпэн — по рождению принадлежавшая к знаменитому роду Морица Саксонского, по мужу Дюпэн де Франкейль — могла причислять себя к подлинной аристократии; Морис, ее сын был единственным представителем угасавшего рода.

Император Наполеон, создавая почти ежедневно все новых и новых маршалов, герцогов, графов и князей, разжигал в старой уцелевшей от революции аристократии чванство старинностью имени и подлинностью гербов. Прошли времена, когда эти гербы окрашивались на каретах и вычеркивались в документах. Кое-где еще держалось слово «гражданин»; в салонах его заменили привычные титулы.

Морис Дюпэн де Франкейль своим безумным браком нанес удар священнейшим принципам. М-м Дюпэн жалели и не смели выразить ей своего сострадания; она запретила говорить при себе о браке сына и называть имя своей невестки. Она сохраняла на лице обычное великосветское равнодушие и прятала, как могла, свое горе.

Дело началось с пустяков: еще недавно ухаживание Мориса за какой-то черноглазой красавицей, подобранной на парижском тротуаре, вызывало у нее только усмешку. Морис был пылок, молод и красив. Он любил женщин, веселые приключения — это было законно. Мог ли быть иным внук Морица Саксонского, прославленного любовника Адриенны Лекуврер!

Это приключение Мориса было далеко не первым. М-м Дюпэн была снисходительной матерью; она давала мудрые советы, выручала сына. В Ногане воспитывался мальчик Ипполит Шатирон, к которому она относилась почти хорошо: имя матери этого ребенка никем не упоминалось; она прошла, как нетребовательная тень, в жизни Мориса, ничем не нарушив ее течения.

Новая связь в Париже была совершенно в порядке вещей; Морис отбил свою возлюбленную у престарелого генерала: он писал матери о страстной преданности к нему девицы Делаборд и о ее душевных совершенствах.

Когда-то и м-м Дюпэн верила в совершенства и в бескорыстные страсти.

Когда пришло известие о беременности девицы Делаборд, м-м Дюпэн принахмурилась; любовное приключение мешало браку, одного Ипполита, с точки зрения м-м Дюпэн, было вполне достаточно.

И вдруг наступили черные дни. Мориса охватила страсть. Письма его стали многословны и глупы. Имя девицы Делаборд испещряло все страницы. М-м Дюпэн не было никакого дела до возлюбленного сына, цвета ее волос, до ее взглядов, вкусов, манер. Если все это доставляло Морису удовольствие — тем лучше. Но девица Делаборд становилась вполне конкретным лицом, и чем это лицо было конкретнее, тем больше в нем появлялось отталкивающих и пугающих черт. Разбитная, уличная девка стоит подбоченившись рядом с Морисом, у нее веселый и наглый жаргон уличных предместий, полудикарский наряд внезапно разбогатевшей проститутки. Она диктует Морису слова его все еще почтительных, но упрямых писем. Как трудно издали противодействовать вредным влияниям! М-м Дюпэн ищет аргументов и сама чувствует их несостоятельность. Жан-Жак Руссо произнес слова о свободе чувств; над этой свободой смеются в аристократических салонах, где и без помощи Жан-Жака умели быть счастливыми, не нарушая приличия... Но как советовать сыну лицемерие и обман, не теряя его уважения? М-м Дюпэн взывает к аристократической гордости сына: он дворянин и должен уметь сохранять свое достоинство.

Но м-м Дюпэн далеко; слова писем не могут вызвать в сердце тех бурь, которые так умело пробуждает София-Антуанетта своими слезами и ласками.

Шестнадцатого прериаля 1804 года перед мэром Второго парижского округа предстала брачующаяся чета: жених — дворянин, офицер в блестящем мундире, Морис Дюпэн де Франкейль, невеста — девица София-Антуанетта Делаборд на последнем месяце беременности.

М-м Дюпэн заперла в сердце свое горе; многие ее жалели, но она не искала сострадания. У нее больше нет сына. Она одинока, но горда и сдержанна.

Девица София-Антуанетта Делаборд, сделавшись мадам Дюпэн де Франкейль младшей, одержала неслыханную победу. Она стала дамой; она забыла и старого генерала, и его предшественника — отца маленькой Каролины. Влюбленный Морис даже Каролину принял как должное. Ее существование держится на твердой базе. София-Антуанетта пляшет от радости. Вокруг нее много счастливых и осчастливленных — ее скромная сестра с мужем, мосье Перрье, тихий друг, знающий все ее прошлое, и

многочисленные подруги, играющие в светских дам. Все пляшут. София забывает о своей беременности, надевает розовое платье, которое не сходится на талии, и не обращает внимания на боли, к счастью не слишком сильные.



Среди вечера она убегает в соседнюю комнату. Музыка заглушает ее стоны, и маленькая Аврора появляется на свет в самой непринужденной обстановке.

М-м Дюпэн — старая вольтерьянка, женщина, воспитанная на принципах XVIII века. Превыше всего она ставит стойкость, приличия, собственное достоинство. Несмотря на это, Морис знает, что у нее сентиментальная душа и в иные минуты легко льющиеся слезы. На несколько дней она приезжает в Париж. Привратница отеля, в котором она остановилась, замечает эту старую даму со строгим лицом и грустными глазами; об этой даме несколько раз приходит справляться молодой человек в блестящем адъютантском мундире; он спрашивает об ее здоровье, знакомых, даже настроении. Консьержка — истая парижанка; таинственная история забавляет и умиляет ее, и Морису не трудно уговорить ее наконец принять участие в чувствительной комедии. Она входит к м-м Дюпэн с неопределенного вида свертком в руках и кладет его ей на колени. В

белизне кружевных пеленок тонет детское лицо, и два черных бессмысленных глаза равнодушно глядят на м-м Дюпэн. Она все поняла и рыдает от умиления; вбегает Морис и падает к ее ногам. Консьержка утирает слезы. М-м Дюпэн чувствует, что она не может не любить это маленькое существо, кем бы ни была его мать. Вне этой девочки нет Мориса, и следовательно нет жизни.

Именье Ноган досталось м-м Дюпэн от мужа. До революции Дюпэн де Франкейль имели состояние, соответствующее их аристократическому имени. Беспечная жизнь отца Мориса, а потом и революция расшатали материальное благосостояние Дюпэнов. О прежней роскошной жизни ни теперь, во времена империи, ни впоследствии, во время реставрации, нечего было и мечтать. Нося аристократическое имя, м-м Дюпэн по своему материальному положению не могла уж более занимать соответствующего своему имени места в среде вновь поднимающей голову знати. Состояние было приличное, но не настолько, чтобы позволить м-м Дюпэн стать в округе чем-нибудь большим, чем помещицей средней руки.

Ноган находится в провинции Берри. Здесь серая, скудная природа, никаких декоративных, бросающихся в глаза пейзажей. Река Эндра тихо течет среди заросших густыми ветлами берегов. Ноганский двухэтажный дом уютен и просторен. М-м Дюпэн старшая живет здесь в обществе мосье Дешартра, бывшего аббата, снявшего с себя сан во время революции. Дешартр — воспитатель Мориса и остался доживать свой век в Ногане. М-м Дюпэн и Дешартр часто спорят. Все современное им не нравится; они утешаются, прославляя разум и иронизируя. Днем они заняты ведением хозяйства, вечером они читают вслух Вольтера, Монтескье и Руссо. Они не признают религии, но верят в высшее существо и в добродетель. Мораль м-м Дюпэн не сложна: надо быть хорошо воспитанным и уметь владеть своими чувствами. Дешартр утверждает, что только наука может дать человеку мудрое отношение к жизни. Он изучает медицину и хирургию, делая опыты на беррийских крестьянах, и приобретает в округе звание колдуна. С прислугой м-м Дюпэн высокомерна и снисходительна, Дешартр груб и требователен. В политике они придерживаются разных взглядов. Дешартр — поклонник императора и видит в нем народного героя и славу Франции. М-м Дюпэн благодарна Наполеону за то, что он задушил революцию, но не может ему простить его коронования: он должен был отдать Францию в руки законного монарха. Отсюда между м-м Дюпэн и ее другом возникают споры. Эти споры оживляют вечера и вносят разнообразие в мертвенно-скудную жизнь. В Ногане не живут, а только рассуждают о жизни.

Когда приходит почта, все меняется; и м-м Дюпэн и Дешартр сохранили только одну страсть. Эта страсть Морис: Морис их живая связь с жизнью. Он в самом центре событий, он адъютант Мюрата и сопровождает его в испанском походе. В своих письмах он описывает Мадрид, разоренную войной Кастилию, дворец Годоя, где расположился раззолоченный, разодетый штаб неаполитанского короля. В конце каждого письма посылались приветы от имени Софии и маленькой Авроры.

М-м Дюпэн младшая поехала вслед за мужем в Испанию. Что ее толкнуло на такое смелое предприятие? Любовь к мужу или любовь к приключениям? М-м Дюпэн старшая склонялась к последнему. Она подозревала свою невестку во всех пороках; она скрывала это чувство под маской приличия и только вздыхала о маленькой Авроре. Девочку подвергали слишком большим опасностям. Дешартр сочувствовал ненависти к Софии. Морис, воспитанный им, был достоин лучшей подруги. Он предсказывал семейству Дюпэнов всякие бедствия в стране, разоренной войной.

Дурные предчувствия оправдались. Началось отступление французских войск из Испании. Среди отступающих войск София ехала обратно в Париж. Трехлетняя Аврора и только что родившийся слепой тщедушный мальчик изнемогали от тяжести этого похода. Они томились зноем, жаждой, голодом, чесоткой. Для Софии ненавистный Ноган с его ненавистной хозяйкой стал казаться обетованной страной. М-м Дюпэн старшая приняла внуков с распростертыми объятиями, невестку — с холодной улыбкой насильственного приличия.

М-м Дюпэн старшая видит в Софии крикливую пуассардку, ревнивую, малограмотную и глупую, склонную к истерической веселости, к внезапным слезам и непонятым приступам гнева. Кроме того, София сентиментальна и мечтательна; она врет, хвастает, преувеличивает и в ее рассказах нет ни вкуса, ни чувства меры. Нет вкуса даже в нарядах; она сама не знает, чего хочет, вечно стремится к каким-то переменам и чрезвычайно снисходительна к самой себе. Вокруг Софии всегда невообразимая трескотня слов и чувств.

София изучает м-м Дюпэн и открывает в ней холодное чрезмерно благоразумное сердце, отсутствие великодушия, расчетливость. М-м Дюпэн самолюбива, горда и больше всего озабочена сохранением собственного достоинства. Она хочет, чтобы ее уважали, это главная цель. Софию, которую никогда никто не уважал, раздражает такая забота; она сомневается в том, чтобы вообще кто-нибудь на свете был достоин уважения, а меньше всех старая увядшая аристократка, жизнь которой

никому не нужна, а ей, Софии, только мешает.

Морис начинает мечтать о походе, ему кажется, что отпуск бесконечно затянулся, ему недостает свободной жизни бивуака и походов. Езда верхом дает ему иллюзию этой свободы. Каждый вечер ему седлают коня, и он выезжает из усадьбы. Морис пускает лошадь вскачь, ветер сдувает с него пыль семейных забот и заглушает трескотню женских голосов, которая всюду его преследует. Он смотрит на небо и вспоминает о созвездьях, которые сияли над ним в Италии, когда он был еще совершенно свободен. Он отпускает повод, лошадь, хорошо знающая дорогу, наддает ходу. Неожиданно вырисовывается на повороте черная неясная глыба. Кусты? Группа людей? Всадник не замечает препятствия, но лошадь испуганно делает прыжок, и Морис теряет стремя. Он взмахивает руками, и в глазах его меркнут созвездья.

За час до его проезда здесь свалили кучу камней для починки дороги. На этих камнях Морис лежит с расколотым черепом; лошадь во весь дух мчится к воротам усадьбы.

Среди ночи обе м-м Дюпэн разбужены, они бегут в темноте к месту происшествия и впервые может быть в жизни не говорят друг другу ни слова. Мать в обмороке падает на труп сына: София поднимает ее; они рыдают, они обнимаются, обезумевшие обе от горя, они в этот час воображают, что перестали ненавидеть друг друга.

Дни проходят в гнетущем молчании, и на жителей Ногана наваливается самое страшное, что только может дать жизнь: пустота. Волноваться не о чем, делить нечего, даже ненавидеть друг друга не за что. Обе женщины молчат, плачут, дни кажутся неизмеримо огромными, ночи не приносят отдыха. Тут вспоминают об Авроре. Это все, что осталось от семьи Дюпэн де Франкейль. Слепой ее брат умер еще в пеленках, Ипполит Шатирон, как незаконный сын, не идет в счет. Чертами лица Аврора напоминает отца; глаза ее — глаза матери: в ней в равной степени течет и аристократическая кровь герцогов Саксонских и кровь Делабордов, не знающих своих предков. Кому же будет принадлежать эта девочка?

Мать смотрит на нее, как на свою неотъемлемую собственность, и бурно предъявляет свои права. Она осыпает ее ласками, яростно бьет в минуты гнева. Бабушка действует осторожнее; ее позиции гораздо крепче. Состояние принадлежит ей, она пишет завещание в пользу Авроры, ставя условием, что девочка останется при ней. Бабушка знает, что перед таким аргументом всякая любовь бессильна. Мать еще ничего не знает о завещании, она вся отдается прелести борьбы за дочь. Обе, и мать и бабушка, понимают, что жизнь еще не кончена, что в крушении их жизни

еще осталась соломинка, за которую можно ухватиться. Аврору можно любить; мало того: из-за Авроры, через Аврору можно ненавидеть. И обе м-м Дюпэн, младшая и старшая, кидаются к Авроре, как к якорю спасения. Четырехлетняя Аврора делается героиней.

По ночам мать берет ее к себе в постель и выплакивает ей свои оскорбления, изливает свою ненависть. Она преувеличивает нанесенные ей обиды и рассказывает дочери целую сказку о том, как она с ней вместе удалится от этого мира злых людей, как они заживут в Париже, откроют лавочку, где будет красоваться вывеска, унижительная для аристократической родни: «Моды госпожи Дюпэн де Франкейль». На утро София сама забывает свои рассказы и мечты о лавочке. Аврора для нее только первый попавшийся слушатель.

Днем Аврора попадает в сферу бабушкиного влияния. В ней есть протест против этой жизни, вызванный словами матери, но он почти тотчас угасает. Кругом бабушки уют, приятный запах старинных духов, золотообрезанные книги. Она не слышит слишком громкого смеха и не получает неожиданных побоев. Ей нравится приличие, окружающее бабушку, и почтительность, которую она вызывает в окружающих. Быть внучкой этой седой и изящной дамы лестно; против воли Аврора чувствует, что ей хочется быть похожей на бабушку, а не на страстную шумливую мать. Беседы с матерью хороши, когда ночью пробужденная от сна Аврора чувствует возбуждение, склонность к слезам, необъяснимо восторженное состояние. Днем, в присутствии бабушки, ей хочется быть хорошей девочкой. Она склоняется старательно над вышиванием, слушает речи Дешартра, бабушкины горничные нашептывают ей: «Счастливая мамзель Аврора, бабушка оставит вам все наследство. Ведите себя хорошо, угождайте ей».

Это два разных мира; изо дня в день они уживаются в сердце Авроры, и только иногда внешние события заставляют вступать их в конфликт. Чем старше становится Аврора, тем чаще ее вынуждают выбирать; она оценивает свою роль героини в этой семейной драме, и эта роль начинает ей нравиться; бывают минуты, когда она доводит до пароксизма свои чувства любящей дочери, делается союзницей матери, бросает вызов бабушке и Дешартру. Это только минуты; Аврора — благоразумная девочка, и бабушку не слишком пугают такие взрывы. Аврора возвращается к своим занятиям, к урокам, к играм, и Дешартр видит в ней все признаки уравновешенной здоровой природы.

К счастью, София Дюпэн, утомленная наконец своим вдовьим горем, покидает Ноган. В Париже у нее есть дочь Каролина, старые друзья,

возможность новых встреч и нового счастья. Аврора подавлена горем; мать, которую она обожает, оставляет ее, жизнь в Ногане, несмотря на всю свою прелесть, делается скучной, теряет всякую остроту. Из страдальцы Аврора превращается в обыкновенную девочку, от которой только требуют послушания, а между тем при всем ее благоразумии в ней есть живая фантазия, которая так же требует пищи, как требует семейного очага и уюта трезвая сторона ее натуры.

Есть закрытая для всякого постороннего взгляда душевная область, в которой можно осуществлять все то, чего недостает в жизни. Самый деловой человек может быть тайным мечтателем. У Авроры много часов одиночества; в беррийском пейзаже нет ничего беспокойного, толкающего к действию; кругом обыденно, серо и просторно. Аврора много бродит одна по полям, думая о своей необыкновенности. Нет подруг, нет равных ей по положению детей; она сирота, мать ее презираема и изгнана. Аврора начинает верить в то, что она несчастна. Ей хочется иметь друга, перед которым она могла бы осуществлять свою красивую роль страдальцы. Его нет, и она придумывает его. Зовут этого друга странным именем Корамбе. Это волшебное и совершенно добродетельное существо, выполняющее роль советчика, слушателя и ангела-хранителя. Главным образом он спасает от скуки и сокращает часы. Он нисколько не мешает жизни, он появляется только когда бывает нужен и не нарушает обыденных удовольствий. И Аврора отдается прелести двойной жизни, не подозревая того, что мечтанья и реальность могут вступить в конфликт. Корамбе не реален, но ему отдается слишком много сил и времени, он завоевывает мысли Авроры и начинает диктовать ей свои фантастические и сумасбродные законы.

Бабушка начинает замечать в Авроре какую-то перемену: она мыслит рационально и ненавидит психологические неясности; у Авроры появилось тупое отсутствующее выражение лица, неуместная рассеянность. Домашний шпион Юлия сообщила ей, что «мадмуазель» мечтает соединиться с матерью, жить с ней хотя бы в бедности, отказаться от роскоши. Это ни к чему не обязывающие советы Корамбе, но бабушка принимает их всерьез; она всегда опасается Софии, как врага, и всякий оттенок ее влияния на Аврору кажется ей угрозой. На слова Авроры Юлия остроумно ответила:

«Вы будете с вашей матерью сидеть в мансарде и кушать вареные бобы».

Бабушка находит этот ответ прекрасным. Она не понимает, что для Корамбе действительность не страшна. На всякий случай она держит совет

с Дешартром, и они обсуждают вопрос, как отвратить сердце девочки от недостойной матери. Дешартр — поклонник правды и решительных мер. Он советует открыть глаза Авроры на поведение матери; есть сведения, что ее жизнь в Париже и сейчас вовсе не безупречна. Такое разоблачение будет тяжелой, но благотворной операцией.

Бабушка призывает Аврору и убийственно-холодным и деловым тоном произносит обвинительную речь. Забыв о возрасте внучки, она пускает в ход самые тяжкие обвинения: София — потерянная женщина, она рассказывает ее прошлое, а неясные сведения об ее настоящей жизни передает как доказанный факт.

Корамбе многое нашептал Авроре о самопожертвовании, героизме, верности. Принять бабушкины слова и не бунтовать невозможно. Она рыдает, бьется в истерике, падает в обморок. Бабушка не ожидала такой реакции и испугана.

Аврору уносят, укладывают в постель. Она больна. Ее терзают противоречия. Бабушка нарушила гладкое течение обыденности; Авроре негде больше пригреться, как только в сфере своей второй жизни, подле друга Корамбе. На ее болезненное состояние его советы действуют безусловно. Если жизнь предлагает ей выбор между подлой покорностью и упрямым страданием — она выбирает второе. Аврора переживает первую драму: в своей собственной семье она чувствует себя отверженной, одинокой, гонимой.

Бабушка угнетена не меньше внучки; ее педагогический прием провалился; в выигрыше осталась ненавистная София. Во всяком случае так дальше жизнь продолжаться не может. Надо найти выход из положения.

В начале 1817 года бабушка везет Аврору в Париж в монастырь англичанок, где она должна закончить свое образование. Аврора почти счастлива. Ей грустно покидать Ноган, но она чувствует, что в новой жизни душа ее расправится; слишком тяжелые законы Корамбе перестанут ее угнетать.

Наполеоновская эпопея кончилась. Промелькнули легендарные сто дней. Людовик XVIII второй раз вернулся в Париж под охраной штыков союзников, и реакция стала на страже европейского спокойствия. Лозунгом дня стали философские теории мрачного Жозефа де Местра — мистического идеолога самодержавия. Лицо Франции изменилось,

аристократия предъявляла свои забытые за двадцатилетней давностью права, чиновники Наполеона предавали его память, старые усадьбы отстраивались, помещики вспоминали о своих феодальных правах, крестьян загоняли в границы времен Людовика XVI, в обедневших крестьянских избах шепотом напевали карманьолу, жандармские треуголки мелькали на всех перекрестках, выброшенные из политической жизни мелкая буржуазия и интеллигенция начинали творить легенду об изгнанном императоре; люди в черных рясах, строили здание монархии, и с монастырских кафедр зазвучали слова о покорности и о небесной награде.

Армия христовых невест и благолепных аббатов принялась за воспитание нового поколения. Католическая церковь деятельно восстанавливала свои «попранные святыни», аристократические семьи слали в монастыри будущих прозелитов. Подрастающее женское поколение готовили в будущем к католическому браку, а в случае материальной невозможности вступить в брак — к жалкой роли гувернантки или приживалки в доме каких-нибудь богатых родственников. Будущее девушек, собранных в стенах монастырей, было заранее предопределено традициями семейных отношений и догматами католической церкви. Женщина должна быть женой и матерью; в жизни нет для нее ни иного места, ни иного применения своих сил. Если брак неудачен, тем хуже для нее; она как истая христианка должна нести свой крест, не нарушая протестом или тем более разрывом «божественного установления», соединяющего двух людей нерасторжимыми узами. Католические пастыри знали, что жизнь вносила поправки в эти законы, но, относясь ко всяким нарушениям морали как к естественному и неизбежному злу, они заботились лишь о том, чтобы женщина трепетала перед собственным грехом, скрывала его и носила на себе лицемерную личину добродетели. Таким образом надеялись путем обмана приостановить распространение заразы, а институт исповеди давал возможность держать в теснейшем наблюдении духовных дочерей. К этому наблюдению, к контролю над мыслями воспитанницу монастыря приучали с первого дня ее вступления в эту великосветскую тюрьму. На монастырских правилах революция никак не отразилась. Воспитанницы должны были забыть или совсем не знать о конvente, о Робеспьере, о Марате. Молились только о короле-мученике и о «вандейских святынях». Наполеон снова стал Бонапартом или «корсиканским чудовищем», которое перестало быть страшным. Во всей неприкосновенности, с удвоенной пышностью восстановилось поклонение «святой деве» и «маленькому Иисусу». Белую статую мадонны, опоясанную голубым шарфом, украшали огни свечей, пестрые бусы и

розы. Под светом лампад лежала на соломе в яслях восковая кукла обнаженного христосика. Черные монахини неслышно скользили по каменным ледяным плитам церкви и стояли на коленях долгие часы, в экстазе перебирая костяные четки. С кафедры розовый и сытый аббат Премор произносил проповеди. Он блаженно улыбался, растворяясь в нежнейшей любви к дорогим сестрам. Голос у него был медовый. Ему были известны все тайны бога и все его намерения; вечное блаженство казалось легко достижимым, порок отвратительным, добродетель — благодушной и радостной. Обязанности и права христианина были четки и ясны, как разграфленная бухгалтерская книга, но эта бухгалтерская книга была пестро раскрашена чудесами и видениями.

Девочки здесь были собраны из буржуазных и аристократических семей; их плохо кормили, держали в холодных комнатах, окна были заделаны решетками. Через несколько месяцев заключения пленницы забывали о свободе и начинали искать радости только в пределах тюрьмы. Редкие из воспитанниц бунтовали. Стены жизни сдвигались; все вне монастыря казалось преступным, тягостным и страшным. Воспитанницы привыкали к своим тюремщикам и теряли волю. В маленьких пределах им было дозволено радоваться, веселиться, печалиться. Мелкие и крупные ссоры к вечеру делались известными сестрам и исповеднику, и в слезах раскаяния провинившиеся обретали необходимую для жизни остроту чувств. Мысли самые задушевные были предметом обсуждения; над каждой душой тяготела опека одной из сестер, которая за неимением другого объекта становилась предметом обожания. Так возвращали в монастыре испуганное, покорное, лишенное индивидуальности людское стадо. Воспитанницы в семье и обществе станут идеальными женщинами, «добрыми католичками». Привычка к исповеди и моральному руководству в зародыше убьет бунтарство и критику.

Аврора приняла монастырь, покорилась ему и полюбила его. Мать Алисия, таинственная в своей кротости и благолепии, духовно ее усыновила и отворила ей двери своей кельи, где пахло ладаном и кипарисом. Аврора любила рассуждать и морализировать. В известных пределах это разрешалось. С матерью Алисией можно было вести долгие беседы о своих сомнениях и пороках. «Христова невеста» выслушивала покаянные речи терпеливо, делала ласковые внушения. Совесть Авроры была спокойна, она чувствовала себя хорошей девочкой и радостно отдалась довольству собою. Ее самолюбие было удовлетворено, сестры и подруги оценили ее способности. Она была начитана, умна и в узких пределах монастырской жизни могла ощущать себя одной из первых.

Так прошли первые годы. Изредка Аврора вызывала к жизни старого друга Корамбе. Ему нечего было рассказывать ей, дни текли без трагедии; появились минуты, когда жизнь казалась скучной.

Среди монастырских послушниц сестра Елена считается последним человеком. Она не принесла в обитель никакого приданого и приняла монашество, как говорили, по призванию. Богатые сестры вообще презирают послушниц, служащих в монастыре судомойками и чернорабочими. Но в сестре Елене, помимо всего, есть черты, возбуждающие отвращение. Это кликушествующая женщина, с экстатически расширенными глазами; ее посещают видения; с ней делаются припадки, она пророчествует. Обычно ее гнетет меланхолия, у нее пришибленный, униженный вид, она грязна и неряшлива. Сестру Елену держат на кухне.

Аврора сталкивается с ней на лестнице. Сестра Елена изнемогла, таща большую тяжесть: ведро с помоями стоит рядом с ней. Глаза ее, окруженные зловещими кругами, глаза замученной, забитой собаки, поражают Аврору, Она давно не видала чего-нибудь необыкновенного и соскучилась от пресности своей слишком благоразумной жизни. Она садится рядом с сестрой Еленой, и давно ни с кем не говорившая послушница рассказывает ей всю свою жизнь. Воображение, действительность и бред перепутались. Аврора при помощи своей фантазии дорисовывает безграмотное повествование. Она видит избушку в лучах вечернего солнца, плачущую семью, отца, проклинающего дочь, сестру Елену, покидающую все земное по зову небесных голосов. Картина пленительна. В ней есть страдание, красота и фабула в стиле Корамбе.

Аврора поднимает ведро сестры Елены и тащит на себе непосильную тяжесть. Это ее первый подвиг. Она чувствует себя гордой, особенной, счастливой.

Подруги узнают, что на Аврору сошла благодать; это очередное событие в монастырской жизни, на Аврору смотрят с уважением и любопытством. Сближение Авроры с сестрой Еленой так необычайно, что от Авроры ждут, почти требуют новых проявлений святости. Она меняется со дня на день: она мрачна, восторженна, молчалива. Она часами лежит на каменном церковном полу.

Аббат Премор, мать Алисия и настоятельница не слишком одобряют такие порывы. Есть границы, за которые не должен переступать религиозный экстаз; от воспитанниц требуется покорность, а не активность. Цель монастыря создать религиозных светских женщин, а не монахинь. Но новую страсть Авроры не так легко сломать. Ожидание

подруг ее обязывает; Корамбе дает ей свои восторженные и экстравагантные советы. В подвиге нужен окончательный, завершающий штрих. Аврора объявляет, что нашла свое признание и что она навеки останется в монастыре.

Настоятельница вызывает в Париж бабушку. Старая вольтерьянка и светская женщина поступает решительнее всех; перспектива видеть свою внучку под монашеским покрывалом ее ничуть не радует, церковность она считает глупостью, а произнесенные в шестнадцать лет обеты — преступным легкомыслием. А кроме того, всякие преувеличенные чувства — выражение безвкусицы; в этом безвкусице она узнает в Авроре дочь Софии с ее крикливостью, несдержанностью, шумными переживаниями. Она решительно объявляет, что берет Аврору из монастыря. Аббат Премор и настоятельница поддерживают старую м-м Дюпэн: они не фанатики и не ловцы человеческих душ и не хотят, чтобы их обвиняли в изуверстве; они только благоразумные воспитатели верноподданного, религиозного юношества.

Аврора подчиняется решению безропотно. Мечта ее обрывается, как и все мечты, подсказанные Корамбе. В ней тонко развит слух к трезвым законам жизни, и этим законам она в конце концов всегда жертвует своими мечтами. Корамбе может украшать ее жизнь, но управлять ею всегда будут иные советчики.

Она едет обратно в Ноган. Детство ее кончилось.

Глава вторая

Замужество

В замке Плесси-Пикар жизнь протекала весело. Французские помещики после реставрации чувствовали себя в своих землях отлично. Восстановились уют и семейственность, сентиментальная любовь к природе, сытая жизнь. Крупной земельной буржуазии политический горизонт казался безоблачным. За отсутствием внешних впечатлений шли вглубь и развивались интересы семьи. В семействе Ретье дю Плесси подрастала молодежь. Хозяин дома Джемс дю Плесси был весел, добродушен, любил выпить, посидеть у камина, похвастать былыми похождениями. Мадам дю Плесси гордилась образцовым хозяйством: она была любвеобильна, нежна, принимала близко к сердцу чужие горести.

По своим взглядам и характеру она принадлежала именно к тому типу женщин, которую считали идеалом в эпоху женского бесправия. Жизнь ее была строго ограничена пределами семьи и хозяйства; никакие интересы вне личных и семейных забот не нарушали тревогой ее ясного, благожелательного и безмятежного взгляда на жизнь. Политика, общественная жизнь, искусство — все это были области, лежащие вне сферы ее понимания; всю свою энергию и силу она направляла на то, чтобы довести до совершенства быт маленькой семейной ячейки, к устройству которой она считала себя призванной по своему положению жены и матери.

Семейство Ретье было счастливейшим семейством и от избытка счастья занималось устройством благополучия своих знакомых. Здесь была известна и нередко обсуждалась печальная история бедной м-ль Авроры Дюпэн. Со стороны отца она принадлежала к лучшему аристократическому кругу Франции. На ней тяготело, как проклятие, низменное происхождение матери. Эта двойственность делала Аврору не вполне равноправной в среде аристократической молодежи; ей надо было прощать существование ее матери; Аврору жалели и покровительствовали ей. Старая м-м Дюпэн не успела закончить дела своей жизни и приличным браком навсегда изъять Аврору из сферы семейства Делаборд. Бабушка умерла, когда Авроре было 17 лет. Она оставила внучку, начитавшуюся Мабли, Лейбница и Локка, изучившую математику, английский язык и музыку, на попечении почти неграмотной матери.

Сердце доброй м-м дю Плесси обливалось кровью. Она пошла на жертву. Она пригласила Аврору вместе с матерью в Плесси-Пикар.

Казимир Дюдеван был незаконным, но признанным сыном барона Дюдевана. Его положение в обществе было вполне прилично, но не имело твердой базы. По смерти отца он надеялся получить титул, но состояние его было скромно. Казимир был бравым молодым человеком; у него была военная выправка, светская развязность в манерах. Его бледноглубые глаза смотрели открыто, в его обращении была приятная самоуверенность; он внушал доверие и уважение. Казимир полагался на свои достоинства и искал жену. Ему было 27 лет, время шло, надо было торопиться. М-м дю Плесси познакомила его с Авророй; перед Казимиром нечего было скрывать своих намерений; у Авроры было полумиллионное приданое; кроме того, она прекрасная девушка. Казимир выслушал всю историю м-ль Дюпэн, он проявил внимание и сочувствие. Он осуждал женихов, которые слишком явно показывали интерес к приданому; он понимал, что в 18 лет всякой девушке нужен роман, поэзия и нежность.

Влияние м-м дю Плесси, убеждения и взгляды, привитые Авроре в монастыре, сказались в этот решающий момент ее жизни. Для девушки с ее положением благоразумный брак был единственным возможным устройством жизни. Все толкало ее к этому браку. В 18 лет у нее не было ни жизненного опыта, ни внутреннего протеста. Она поступала так, как поступали все девушки ее круга: она предоставляла людям старшим и благоразумным распорядиться своей жизнью и своими склонностями.

Объяснение было необычно. Казимир не говорил ни о любви, ни о внезапной страсти, он говорил о непоколебимой дружбе и доверии, о разумной семейной жизни, об уверенности в будущем. Это не были слова Корамбе, это были слова мудрой действительности. Аврора поверила им; она знала, что прежде всего надо строить свой дом, а затем уж приглашать в него поэзию, как желанную и светлую гостью.

Она протянула руку Казимиру.

Десятого сентября 1822 года Аврора Дюпэн де Франкейль и Казимир Дюдеван заключили брачный контракт. В 1824 году Аврора писала своей матери:

«Что сообщить вам нового о нашем тихом доме, где мы живем, как спокойные люди; мы никого не видим; мы заняты сельским хозяйством. Казимир занят сбором урожая. Рожь созрела, и пора ее жать. По случаю дня рождения Мориса у нас были блестящие праздники. Я угощала крестьян. Были танцы, салюты, колокольный звон».

При таких сообщениях София не чувствовала себя уязвленной; такая

жизнь казалась ей невыносимой, но Авроре она, видимо, нравилась. Письма Авроры были полны описанием сына. Первенец Морис был свеж и кругл, как яблоко, он проявлял ум и характер. Софии сообщалось о мелких болезнях, о первых прорезавшихся зубах, о первых словах Мориса. Она отвечала ласковыми письмами.

Никто — ни София, ни Аврора, ни Казимир — не предчувствовал и не ожидал драмы; ей неоткуда было явиться. Аврора хотела быть счастливой; она не знала в жизни иного счастья, чем то, которое она имела. Но в ней неясно зрело глухое недовольство.

В Ногане часто гостил ее брат Ипполит Шатирон; он подружился с Казимиром. Ипполит был типом неунывающего веселого неудачника; он был неглуп, нетребователен к жизни, любил выпить. Аврора радовалась дружбе Казимира с Ипполитом. В этой любовности всей семье ей чудилась тихая и скромная поэзия.

По вечерам, вернувшись с полевых работ, Казимир изнемогал; ему хотелось есть, он садился за ужин, голова его была забита мыслями о расходах, расчетах. Он любил хозяйство и роль помещика, но, кроме забот этой роли, он хотел и всех ее прелестей. Он не был крупным землевладельцем, а скорее фермером; он сам входил во все; ему нравилось, что руки его покрываются мозолями, что крестьяне с ним фамильярны. Он их всех держал в руках, что его радовало. Дома ему хотелось фермерских радостей; он не гнался за изяществом, он хотел шумной веселости и благодущия. Ипполит был подходящим собутыльником. Они пили до полуночи, пели беррийские песни; Ипполит по лени не любил умных разговоров, из его жизни не вышло ничего умного, и к этому он ради собственного спокойствия больше не возвращался. Казимир считал все умное глупостью. Аврора не хотела нарушать радостных ужинов, она подсаживалась к мужу, выслушивала его хозяйственные мечты; она хотела любить его: он был фермером, она становилась доброй фермершей, она хлопотала об огороде, курах и коровах, хвасталась румяными щеками своего сына, входила в интересы крестьян, завела аптеку, медицинские книги. Она знала, что все это прекрасно и добродетельно, совесть ее была спокойна. Она ждала какой-то награды: страстных ласк, ревнивых сцен, может быть слез и примирений. Они бы украсили ее жизнь, ничего в ней не нарушая.

Казимир, опьяненный воздухом и вином, валился с ног от усталости. Ипполит посмеивался над заботами Авроры. Мужчины засыпали, в доме наступала тишина. Аврора грустно перелистывала страницы Руссо. Он повествовал ей об экстазах, о слиянии с природой, о силе страсти, о

незаконности человеческих законов, о праве на свободно избранную любовь. Аврора начинала плакать. Она все еще хотела быть счастливой и любить своего мужа. Она садилась писать очередное ласковое письмо матери; она описывала день за днем спокойную жизнь Ногана, и из-под ее пера невольно вырывалась фраза: «Ни холод, ни грязь, ничто не мешает Казимиру всегда быть в полях, на воздухе; он возвращается домой только затем, чтобы есть или храпеть.»

Авроре минуло 21 год.

Аврора и Казимир проводят лето в Пиренеях, в местечке Котрэ. Аврора много плачет, много гуляет, много смеется. Она любит горы, таинственные ущелья, пропасти. Она много говорит о чувствах, о жизни, о книгах. Казимир улыбается над женской блажью; он знает ей цену, всякой женщине хочется вздохнуть при луне; это проходит как болезнь. От этой болезни на него веет скукой, как от всего, что сложно и надуманно.

Аврора пишет в своем дневнике.

«При истинной любви, о которой не запрещено мечтать, муж бы не стал придумывать поводов к постоянным отлучкам. А если бы необходимость делала разлуку неизбежной, то любовь, испытанная обоими при возвращении, становилась бы сильнее. Разлука должна усиливать привязанность. Но когда один из двух супругов жадно ищет поводов к разлуке, это для другого — урок философии и смирения. Прекрасный урок, но охлаждающий».

Что заставило Аврору здесь, в Пиренеях, впервые произнести слово «охлаждение»? За три года неудачного брака оно должно было не раз приходиться ей на ум. Она, однако, до сих пор никогда не произносила его.

В Лурдских пещерах великолепные залы; своды их, как готические колонны, поддерживают мраморные скалы, у подножия скал бежит голубой поток; цепь гор на горизонте вырисовывается черным профилем, пещеры соединяются сырыми и узкими лабиринтами, душные галереи сменяются просторными и светлыми колодцами под куполами нависающего мрамора. Это прекрасно и таинственно; все окружающее живет особенно острой запечатлевающейся жизнью. Аврора бродит по этим пещерам вместе с де Сезом.

Де Сезу 26 лет; Аврора ему нравится; она расцвела и стала женщиной, ее матовые глаза кажутся ему полными страсти. Идиллию на Пиренеях он принимает, как первые страницы романа. Казимир Дюдеван охотится за сернами и не может помешать его счастью. Де Сез говорит о стихах, о поэзии, о природе.

Время разлуки близится, Аврора нежна и экспансивна, и на одной из

прогулок де Сез высказывает ей свои желанья. То, что было мечтой для нее, для него стало самой жизнью. Он хочет осуществления любви, он страстен и требователен. В глазах Авроры он читает испуг и смятение. Для спокойствия ее совести необходимо, чтобы мечты не захватывали области действительной жизни. Измена мужу — преступление. Аврора не находит этому преступлению ни в себе самой, ни в прочтенных книгах, ни у друзей оправдания. Жить преступницей она не хочет и не может.

В день отъезда, в минуту прощанья де Сез просит у нее поцелуя. Она делает ему эту уступку и подставляет для поцелуя лоб. Это дружеский, почти братский поцелуй. Аврора надевает на себя и на де Сеза тяжкие цепи дружбы, и они расстаются.

София Дюпэн продолжает получать из Ногана все те же благодушные и спокойные письма. О Казимире Аврора пишет с лаской и уважением, об устройстве своего дома — с прежним интересом и заботой. Идиллия в Пиренеях ушла в глубь ее сердца.

Был момент порыва, когда ей захотелось драматизировать эту идиллию; жертва была принесена Казимиру; он должен был узнать о ней. Она написала мужу письмо. Она казнила себя за моральную измену и за поцелуй де Сеза. Письмо было трогательно и искренно она просила Казимира спасти ее от зарождающейся страсти: она обещала ему верность и клялась, что не уступит страсти де Сеза.

Казимир простил ей великодушно и лениво. Он не потребовал разрыва с де Сезом и даже не просил о прекращении переписки. Он не сомневался в верности Авроры.

Видимость любви и близости продолжалась. Она продолжалась только для него. Каждый вечер Аврора видела перед собой за ужином это знакомое ей лицо с фарфорово-голубыми глазами, видела эту однообразно веселую сытость. Она была связана с ним. Она начала его ненавидеть.

Брачный контракт Авроры Дюдеван обеспечивал за ней все ее личное имущество, которым Казимир только управлял, обязываясь сверх прочих трат выплачивать жене на ее личные расходы ренту в 3000 франков ежегодно. Но условия контракта оставались только на бумаге. Неподготовленная к практической жизни воспитаньем, убежденная в том, что муж является хозяином жены, Аврора представила своему супругу бесконтрольное распоряжение имуществом. Казимир не только не выплачивал жене причитающейся ей ренты, но и вообще относился к материальной стороне жизни своей семьи с предельным легкомыслием. Ему, как и большинству его современников-мужчин, казалась дикой самая мысль о какой бы то ни было ответственности перед опекаемым им

ребенком, каким он считал до гроба свою жену и вообще всякую женщину.

В тот момент, когда начался разлад между супругами, благосостояние семейства Дюдеван было уже сильно поколеблено, и единственная опора жены — личное независимое от мужа состояние — ускользала от нее.

С того момента, как Аврора перестала себя обманывать, она изменилась. Роль добродушной фермерши сделалась невозможной; все то, что она оставила во имя своей воображаемой любви к Казимиру, засияло для нее особым светом. Книги, размышления, наука, старая ноганская культура и бабушкины заветы — все это как враги тупого благодушия стало ей особенно дорого.

Одна в своей комнате она читала, писала письма де Сезу, писала роман, рисовала. У нее не было иной цели, как самой себе заявить о своей ценности, утвердить самое себя.

Ее превосходство над мужем делалось очевидным. Она плохо скрывала свое презрение, и Казимир стал его ощущать. Он сам презирал Аврору, но в его презрении не было страсти; оно родилось само собой, без всяких стараний с его стороны, и уживалось с добродушием. Вражда началась только с той минуты, когда его презрению противопоставили иное, холодное, замкнутое и самоуверенное. Фермерша, вооруженная цитатами из Франклина и читающая Байрона, была неподходящей подругой.

В Ла Шатре, ближайшем от Ногана городке, жила веселая дама; она не задавалась никакими идеями, была весела, держала хороший стол. Казимир делил свои досуги с ней; когда погода или усталость мешали его поездкам в Ла Шатр, в самом доме в Ногане он находил маленькие незатейливые радости. Аврора не предусмотрительно держала в горничных сначала черноглазую испанку Пепиту, потом хорошенькую Клер. Ни та, ни другая не читали философов и не подозревали о существовании Байрона. В их объятиях Казимир имел право быть неостроумным, грубым, пьяным — его не упрекали.

Орельен де Сез в течение шести лет был верен Авроре, их встречи были редки, но переписка их была постоянной и страстной. Письма Авроры были искренни, серьезны и всегда трогали его. Хорошенькая молодая женщина, отказывавшаяся от любви во имя долга, в его глазах имела прелесть и чистоту девушки или монахини. Разделенная и неосуществленная любовь не мешала ему жить — она могла длиться до бесконечности.

В 29-м году у Авроры родилась дочь. Маленькая Соланж была встречена так же любовно, как и Морис. Восторгались ее крепким

здоровьем, ее румяными щеками, ее сходством с Казимиром. Как ни тягостна была действительность, Аврора не могла нарушить ее нормального течения. В семье должны быть дети; они должны оживлять своей беготней и смехом старый ноганский дом. Дети могут быть только от законного мужа — жить в преступлении нельзя.

Орельен де Сез не мог разделять радостей Авроры. Монахиня утратила всю прелесть тайны и девственности. Его роль приобретала легкий оттенок смешного. Де Сез решил порвать цепи дружбы. В 1828 году Аврора записывала в своем дневнике:

«Между нами не было ни объяснений, ни упреков. Его страсть не могла довольствоваться восторженной дружбой или перепиской. Зачем стала бы я жаловаться, на что? Нельзя бороться за обладание душой. Надо возвращать свободу человеку, душе — ее полет, богу — огонь, от него сошедший».

Надо! Аврора не потеряла самоуважения в своем разрыве с де Сезом, но жизнь ее сделалась пустыней. Некому было оценить ее жертву; в сердце ее пробудилась острая боль одиночества.

Ипполит и Казимир веселятся по-прежнему, но дух вражды ощущается явно. Чем печальнее Аврора, тем враждебность Казимира сильнее; как женщина она ему кажется несостоящей внимания, и он не находит нужным особенно тщательно скрывать свои любовные похождения. До сих пор Аврора их не замечала. Она хранила иллюзию взаимной верности, как последнее оправдание своей жертвы и своих страданий. Как только она узнает об изменах, она понимает, что в ее жизни нет ни приличия, ни добродетели. Она слишком умна, чтобы хранить к себе уважение в роли презираемой и брошенной жены. Она самолюбива. Жизнь выталкивает ее из всего, что ей дорого; она ищет опоры в друзьях и не находит ее, она ищет аналогий своему положению, и их нет. Женщины либо мирятся с таким положением, либо находят себе тайные утешения. Ни в том, ни в другом решении Аврора не видит красоты. Разрыв с Казимиром происходит грубо. Казимир тоже дошел до ненависти; в своем положении ни он, ни она не ищут компромиссов. Вражда и презрение так явны, что нельзя изобрести для них никакого покрова.

Все мосты сожжены. Аврора одна перед лицом жизни. Позади Ноган, строительство дома, очаг, дети — все то, что защищает и оправдывает жизнь. У нее только одно оружие: слова Руссо о прекрасном свободном чувстве и туманное желание настоящего счастья. Ее материальное положение так шатко, что перед ней самым конкретным образом становится вопрос о зарботке. В руках у нее нет ни профессии, ни

ремесла. Знания, полученные в монастыре, отрывочны и бессистемны. Эти знания достаточны для женщины, желающей своей болтовней оживлять салонные вечера, но не дают никакого оружия в руки человеку, принужденному собственными силами пробивать себе дорогу.

Авроре Дюдеван предстояло учиться, воспитывать себя и самостоятельно идти по пути жизни, невзирая на все препятствия, поставленные перед ней личными обстоятельствами и условиями эпохи.

Глава третья

Жюль и Жорж

В июле 30-го года разыгрался последний акт трагической борьбы между французской аристократией и буржуазией, начавшийся в 1789 году.

Последний из Бурбонов, Карл X, унаследовавший корону от Людовика XVIII, возведенного на престол волей европейской коалиции был последним французским королем-аристократом. Опорой его трону служили пэры Франции, вновь ставшая у власти после реставрации старинная знать и та часть буржуазии, которая сумела укрепить за собой завоевания революции. Но в массе молодой крепнувший класс буржуазии оставался недовольным. Финансовые короли добивались политического главенства в стране: Карл X и его клика мечтали о полном восстановлении монархического принципа.

К 30-му году парламентская борьба достигла крайней остроты. Либеральная буржуазная пресса открыто высказывала свое недовольство правительственными реакционными тенденциями. Революционные настроения, охватившие под влиянием общеевропейской реакции Италию и Испанию, распространение тайных обществ, многочисленные политические партии — республиканская, бонапартистская, орлеанская (сторонники младшей ветви Бурбонов) — создали общее тревожное настроение и пробуждали надежды на близкие перемены. Неорганизованный еще ремесленный пролетариат, изнемогший под тяжестью нищеты, явившейся следствием наполеоновских войн и реставрации, представлял собою могучую силу, которую легко можно было вызвать на вооруженную борьбу с существующим строем во имя туманных обещаний свободы и материального улучшения быта.

Король Карл X — недалевидный политик — захотел усмирить разгорающиеся страсти актом самодержавной воли. 25 июля были подписаны ордонансы, отменяющие выборы в палату и уничтожающие свободу печати. Таким образом нарушалась хартия — акт, подписанный Бурбонами при реставрации, акт, гарантирующий стране конституцию. Конституционный монарх открыто переходил на роль самодержца.

Баррикады перерезали улицы Парижа. Пролетариат под пенью Марсельезы вышел на улицу с криком: «Да здравствует хартия». Рабочие-печатники, оставшиеся без работы вследствие массового закрытия газет,

составляли передовые отряды бойцов, лидеры либеральных партии братались с рабочими и студентами, разжигая их революционный пыл. Поседевший оперный герой Лафайет, поэт Ламартин, банкир Лафитт стали вожаками движения. В течение трехдневных кровопролитных боев на улицах Парижа окрыленный надеждами пролетариат думал, что борется за республику. Республика еще не была скомпрометирована в глазах рабочих: республика должна была ослабить власть работодателя, улучшить материальный быт, республика открывала пути к политическому и социальному росту пролетариата. Так думали бойцы, вышедшие в 30-м году на баррикады.

Монархия Карла X была сметена. Сам король бежал из Парижа, ближайшие министры — Полиньяк Шантелоз и Гернон Ранвиль — были заключены в Венсенский замок, но одновременно с одержанной победой угасли и надежды победителей. Финансовая буржуазия думала только об укреплении своих завоеваний; эти завоевания шли, разумеется, в разрез с интересами рабочих; пролитая кровь послужила только на пользу финансистов, и тотчас после одержанной победы главари буржуазии устремили всю свою энергию на подавление революции. Рабочих разоружали, усыпляя их бдительность благодарственными речами и изъявлением уважения, а тем временем организовывалась национальная гвардия, составленная исключительно из представителей буржуазии.

Г-н Ремюза идеолог буржуазии — заявлял на страницах «Le globe», «что июльское восстание не преследовало революционных целей, а было лишь протестом против нарушения хартии. Франция оставалась монархической и ей надлежало только найти претендента на пустующий трон. Он нашелся в лице Людовика-Филиппа, герцога Орлеанского, сына младшего брата Людовика XVI.

Покладистый характер, семейные добродетели и внешнее добродушие герцога Орлеанского делали его весьма подходящей фигурой для роли отца страны, которую буржуазия надеялась держать в руках посредством своего ставленника. Генерал Лафайет, обнимая Людовика-Филиппа, заявил: «Вот лучшая из республик».

Революция была окончена.

Пробуждение после дней надежд было тягостно. Обескровленный пролетариат получил в награду за свой героизм много прекрасных слов и ничего больше. Революционный порыв, подавленный новой, еще более тягостной реакцией, ушел в глубь рабочих масс, проявляясь отдельными вспышками. Республиканская партия чувствовала себя разбитой; средняя буржуазия и трудовая интеллигенция не получили никаких преимуществ

сравнительно с тем, что они имели во времена монархии Карла X. Они по-прежнему оставались вне сферы политической борьбы. Торжествовала финансовая буржуазия, нанеся смертельный удар родовой аристократии и расчистившая себе путь для дальнейшего процветания.

Глубокое уныние — следствие несбывшихся надежд — охватило интеллигенцию. Благодаря конкуренции и бешеной лихорадке спекуляции, ознаменовавшей торжество капитала, жизнь становилась с каждым днем труднее и тяжелее; республиканские идеалы казались разрушенными, вера в революцию была временно утрачена.

Замкнутая в сфере семейных отношений и обыденности молодежь тщетно искала выхода из давящих будней. Скорбь лорда Байрона, пессимизм Альфреда де Виньи взрачивались с любовью как единственная пища для переживаний. Расцветали индивидуализм и самоанализ. Любовь и искусство, оторванные от жизни, заполняли мысли и делались единственной реальностью. В кофейнях и редакциях толпились молодые люди в странных одеяниях: бархатные береты и плащи, отпущенные до плеч локоны воскрешали образы средневековья и Ренессанса. В манерах и одежде каждый искал возможности обостренно выразить свою индивидуальность. Борель отпустил длинную бороду и гордился ею, как орденом, Жюль Вабр лелеял свою маску Арлекина и полагал свое достоинство в изысканных клоунадах; красный жилет Теофиля Готье резал глаза приличным буржуа Парижа на всех премьерях французской комедии. В кофейне Шильдерберт и в Мулен-Руж на Елисейских полях происходили шумные сборища, где даже в подаваемых блюдах и напитках искали оригинальности. Мечтали об Италии, об африканских пустынях, о пирамидах, о Греции. Настоящее и кипящий политическими страстями Париж казались пресными и вызывали зевоту. Прекрасным было только прошлое: рыцарские турниры, бархатные плащи, перья на шляпах. Грезилась руины замков и монастырей, костры инквизиции, шпаги ночных дуэлянтов. Чувства соответствовали декорации. Пламенная дружба и самоубийственная любовь сделались уделом каждого, считающего себя избранной натурой. Избранные натуры рождались тысячами. Разочарование и страсть, замкнутые в сферу личной жизни, в этой же сфере искали и своих врагов: борьба политическая и социальная сменилась борьбой с законами семьи и буржуазного быта. Вызывать негодование и удивление, «эпатировать» буржуа было высшей задачей; на премьере «Эрнани» произошла настоящая битва во имя освобожденного от классицизма театра. Романтизм воцарился в литературе и искусстве.

В молодой литературной среде любовь и дружба сделались

руководящими чувствами. Каждый молодой поэт становился на цыпочки, чтобы поднять свой роман до степени литературного образца; слова: «самопожертвование», «самоубийство», «отчаяние», «страсть» вошли в лексикон каждого уважающего себя писателя. Влюбленности и краткие увлечения обсуждались на дружеских вечерах, о каждом чувстве писались дневники и письма, друзья вмешивались в ссоры любовников; интимное делалось достоянием литературных школ, самолюбие приказывало каждому скорее пережить драму, которая дала бы ему право на звание избранной натуры.

В начале 1831 года молодой начинающий писатель Жюль Сандо ввел в этот круг женщину, которая почти с первых дней знакомства с молодыми литераторами была признана избранной натурой.

По связям и происхождению светская дама, баронесса Аврора Дюдеван бросила мужа и двоих детей во имя независимости и свободы чувства. Она была мечтательна, образована и хороша собой. Альфонс Флери, Феликс Пиа, ближайшие друзья Жюля, приняли молодую женщину с распростертыми объятиями. Несмотря на свои 27 лет, она робела в шумном парижском обществе. Любознательность тянула ее всюду. Ей хотелось все знать, все видеть, скинуть с себя свою провинциальность. Она читала все газеты и все журналы, вечера проводила в Итальянской опере и в Одеоне. Дни проводила в библиотеках и музеях, восторгалась, голосом Малибран и драмами Гюго.

Материальное ее положение благодаря беспечной расточительности мужа ставило ее почти в одинаковые условия с парижским студенчеством и с полуголодной армией молодых писателей. Работа являлась для нее не баловством пресыщенной жизнью дамы, а реальным вопросом заработка. В этой роли борца за жизнь, писателя-ремесленника впервые выступала женщина.

Три друга всюду сопровождали ее и гордились, этой найденной ими удивительной женщиной. У нее была необыкновенная способность слушанья и восприятия, а молодые журналисты Феликс Пиа и Жюль Сандо любили, чтобы их слушали. Вместе с Пиа она шла на собрания сенсимонистов и вместе с ним умеренно критиковала зарождающийся социализм! Жюль Сандо вводил ее в круг литературных интересов, и ее поклонение Гюго вполне соответствовало его восторгам.

Пенсии, которую выплачивал муж, ей не хватало; она привезла с собой из Берри кое-какие литературные наброски и хотела заняться писанием. В этом намерении не было страсти, не было громких слов о призвании, о необходимости высказаться. Литература могла дать средства к жизни.

Аврора обладала необыкновенной усидчивостью, работалось ей легко, слова сами выливались из-под ее пера, она редко перечитывала написанное. В деловых отношениях она проявляла решимость.

Делатуш, директор «Фигаро», был резким человеком, поклонником и издателем Шенье и в сорок лет не мог относиться не скептически к многословию и излипаниям новой школы. Он был сторонником сдержанности в литературе и откровенности в критике. Он прочел принесенный Авророй роман и нашел его плохим. Он высказал свое мнение и предложил ей заняться поденной литературной работой. Всяким молодым писателем такой ответ был бы воспринят как удар. Аврора приняла его как простую деловую неудачу. Журнальная работа ее не пугала, ее пугали только скромные размеры заработка.

С необыкновенной усидчивостью она принялась за работу, и один за другим на страницах «Фигаро» появились ее рассказы: «Прима-Донна», «Девушка из Альбано» и другие без подписи автора.

Вместе с Жюлем Сандо она принялась за роман «Роз и Бланш». Напечатание его вызвало в ней спокойное удовлетворение и очень мало авторских восторгов и самолюбивых грез. Когда написанная ею по плану Сандо «Индиана» была принята, она предложила своему другу по-прежнему разделить авторство и подписать повесть общим псевдонимом Жюль Санд. Настояния Сандо и Делатуша заставили ее единолично принять ответственность и славу авторства, и под романом «Индиана» появилось впервые в литературе имя Жорж Санд.

Еще первые мелкие произведения Жорж Санд, напечатанные в «Фигаро» — «Прима-Донна», «Девушка из Альбано» — обратили внимание читателей на начинающего автора главным образом новизной своих тем. Несуществующий еще тогда женский вопрос впервые и довольно робко выдвигался на страницах этих рассказов. Жорж Санд, переживавшая в это время эпоху борьбы за собственную самостоятельность, еще не достигшая никакого литературного положения и ощутившая на себе мелкие уколы недоверия и насмешек, на которые обрекалась женщина, пытающаяся войти в запретную для нее сферу искусства, отметила в этих рассказах первые вехи своего пути. Театральное искусство было единственным из искусств, доступ к которому был открыт для женщины при условии ее отказа от семьи и некоторой, хоть и гласной, но несомненной для общества деклассации. Тяга к искусству со стороны женщин наказывалась, как преступление, и фатально выбивала ее из буржуазной благополучной семьи.

Жорж Санд, только что пережившая в своей личной жизни такой

разрыв с мужем, избрала героинями своих рассказов актрис и их тягу к искусству, вступающую в конфликт с установлениями буржуазной семьи. Эти рассказы имели успех, но за вопросами о правах художественных натур исчезал специфически женский вопрос. В «Индиане» творчески окрепшая Жорж Санд ставит вопрос об угнетенности женщин в браке во всей его остроте. Героиня — женщина прекрасная и непонятая — делается рабой обыкновенного «порядочного человека». Две неравные качественно души, соединенные брачным законом, нерасторжимым и абсолютным, идут к гибели. Брак без любви, заключенный в силу каких бы то ни было семейных соображений и продолжающийся только благодаря праву мужа, — преступление. Такова была общая установка романа. Такая проповедь произносилась впервые. Она пугала буржуазию своей смелостью.

«Индиана» имела успех. Это был почти успех скандала. Имя Жорж Санд стало известным.

Превращение Авроры Дюдеван из фермерши в писательницу произошло в течение одного года. Она ехала в Париж с чувством страха; позади оставался дом, дети, привычка и законность существования; впереди была жизнь — пестрая, новая и прежде всего незаконная. Жюль по сравнению с ней был мальчиком; она познакомилась с ним еще в Ногане; он говорил ей о свободе чувства и о праве на выбор любимого человека вне законов, диктуемых обществом. Это были слова Руссо, те самые слова, которые были необходимы ей как самооправдание. Но для окружающих ее людей эти теории были так же чужды, как заговор или политическое убийство. Она попробовала говорить с Жюлем тем языком, каким говорила с де Сезом, но верность мужу и платоническая дружба теряли смысл после откровенного разрыва с Казимиром. Жюлю было двадцать лет, он был влюблен и настойчив.

Друзья и новые знакомые в Париже приняли ее отношения к Сандо как прекрасную и возвышенную любовь. Самооправдание, которого она искала в Ногане в книгах и в собственной совести, было найдено. В Париже связь вне брака переставала быть преступлением, эксцентрические прогулки по ночным улицам Парижа в обществе литературных друзей признавались поступками, доказывающими смелость свободного ума. Аврору признали избранной натурой. Знаменитости, как Сент-Бев и Кератри, люди с общественным положением, как Делатуш, восходящие на литературном горизонте светила считали жизнь ее узаконенной высшими велениями страсти и чувства и предлагали ей свою дружбу.

Завоеванный успех дал ей дни большого счастья. Она стряхнула с себя пустоту и скуку и полноту жизни не пришлось покупать ценой душевного

компромисса.

Следуя традициям романтической школы, Аврора чувствовала необходимость подчеркнуть в своей внешности свою принадлежность к плеяде «избранных натур». Она сменила свое дамское платье на мужской наряд, остригла волосы и почувствовала себя в этом маскарадном виде настоящим товарищем своих друзей. Она с удовольствием скинула с себя великосветские манеры и восприняла новый решительный и мужественный тон в обращении с людьми. Аврора чувствовала свою особенность и неповторимость. Она была Жорж Санд, и второго Жоржа Санда или даже его подобия нельзя было найти во всем Париже.

Только один интимный уголок жизни остался в неприкосновенности: от романтизма и богемы Аврора охранила свой дом. Этот дом был святилищем, где можно было отдаваться своим тихим привычкам в согласии с задушевыми вкусами, где можно было честно, усидчиво и добросовестно работать. Сюда не врывалась ни слишком молодая страсть Жюля Сандо, ни богемные выдумки друзей, ни утомительная необходимость экстравагантности и оригинальности.

«Я поселилась на набережной Сен-Мишель, в одной из мансард большого дома, который стоит на углу площади против морга. У меня было там три маленьких очень чистеньких комнатки, выходивших на балкон, с которого открывалось на большое пространство течение Сены и откуда я могла лицом к лицу любоваться грандиозными постройками Нотр-Дам. У меня было небо, вода, воздух, ласточки, зелень на крышах, я не слишком чувствовала себя в цивилизованном Париже, который не подходил ни к моим вкусам, ни к моим средствам, но скорее в живописном и поэтическом Париже Виктора Гюго. Кажется, я платила 300 франков в год за квартиру. Лестница на пятый этаж меня очень огорчала, так как я никогда не умела подниматься; у меня не было служанки, но жена швейцара, очень честная, очень чистая и очень добрая, помогала мне в моем маленьком хозяйстве за 15 франков в месяц. Мне приносили обед из очень чистой и тоже добросовестной харчевни за 2 франка в день. Я сама стирала и гладила мелочь. И таким образом я нашла возможным обходиться в пределах моих доходов».

Так вспоминала Жорж Санд впоследствии свою жизнь на улице Сен-Мишель. В заботе о добросовестности харчевни и о цене за услуги сказывалась добрая ноганская фермерша; она продолжала жить, несмотря на возвышенную любовь к Жюлю, несмотря на пламенные романы, которые писались здесь, в этой тихой комнате в ночные часы.

Читатели и друзья не подозревали об этой интимной стороне жизни

Жорж Санд. В их глазах она была только автором «Индианы», женщиной с непонятой душой. Мысли, высказанные в «Индиане», считались обязательным житейским кодексом Авроры Дюдеван. Вне набережной Сен-Мишель она становилась пылкой, требовательной в любви, непримиримой и смелой женщиной.

Такой воспринимал ее и Жюль Сандо.

Отношения с ней, такие радостные в начале их общей литературной карьеры, прелесть их общей полустуденческой жизни затемнялись. Он полюбил обиженную, скромную женщину, душа и красота которой остались неоцененными; он продолжал любить «славного парня» в мужской шляпе, с короткими локонами, который делил с ним первые литературные успехи и неудачи. Автор «Индианы», известный писатель Жорж Санд, требовал от своего друга все более возвышенных чувств. Его любовь должна была быть вечной, ненарушимой и особенной, чтобы быть достойной такой возлюбленной, как она. Общение их душ, откровенность и взаимные излияния становились тягостными, как закон. Чем больше было слов и обязательств, тем меньше было простой радости. Жюль Сандо считал, что Аврора переросла его как писатель и как человек.

Аврора не замечала перемены.

Между тем Жюль тайне искал развлечения и отдыха. Однажды, возвращаясь из Ногана, Аврора решила застать Жюля врасплох и дать ему вкусить как можно полнее радости неожиданного свидания. Жюль в своей комнате, в этой комнате, которая была свидетельницей их клятв, обнимал какую-то женщину.

Она писала своему другу Эмилю Реньо:

«Я не хочу ни видеть его, ни иметь с ним никаких сношений. Я слишком глубоко оскорблена открытиями, сделанными мною относительно его поведения, для того чтобы сохранить к нему какое бы то ни было чувство, кроме искренней жалости. Дайте ему понять, если это окажется нужным, что ничто в будущем не может нас сблизить. Если это жестокое поручение окажется ненужным, то есть, если Жюль сам поймет, что так и должно быть, то избавьте его от горя, которое он испытывает, узнав, что он все потерял, даже мое уважение. Он, вероятно, потерял и свое собственное. Он достаточно наказан».

Сандо сделал несколько попыток увидеться с Авророй и вымолить себе прощенье; она была неумолима. Для нее разрыв с Жюлем был одним из тех ударов, которые искажают и огрубляют душу. Не столько было уязвлено ее чувство, сколько разрушены основы, на которых она хотела строить свою жизнь. Она поняла, что спокойная и почтенная жизнь так же

мало гарантирована возвышенной любовью, как и законным браком. Лицом к лицу с жизнью она чувствовала себя еще раз разбитой и потерянной, ее верностью и прекраснородушием пренебрегли. Путеводную нить вырвали из ее рук. Она была в отчаянии. К счастью, оставался еще как утешение острый и горестный литературный пессимизм. Она начала писать «Лелию».

Общественные события не только не нарушали общего печального настроения Жорж Санд, но, напротив, давали богатейшую пищу ее пессимизму. Она так вспоминала впоследствии об этом времени в «Истории моей жизни»:

«Вообще это было время всеобщего разочарования и упадка. Республика, о которой мечтали в июле, привела к варшавской резне и к бойне в ограде Сен-Мерри. Холера унесла десятую часть человечества. Сен-симонизм, который временно увлек воображение, был подвергнут преследованиям и не привел ни к чему. Искусство осквернило жалкими юродствами колыбель своей романтической реформы.

В моих прежних верованиях ничто еще не определилось в смысле общественных взглядов, ничто не помогало мне бороться против катастрофы, которая привела к царству материализма, а в республиканских и социальных современных идеях я не находила достаточного света, чтобы победить тьму, которую Маммон открыто насылал на мир. Я оставалась одна со своими грезами о всемогущем божестве».

Такие настроения были весьма распространенными и нашли уже свое отражение в литературе начала XIX века. Жорж Санд, создавая «Лелию» — роман, в котором она со свойственным ей многословием и отсутствием плана старалась только о том, чтобы как можно полнее высказать свои мысли и переживания — повторяла в сущности Манфреда, Чайльд-Гарольда Байрона и Рене Шатобриана.

Обособленность, непонятость, брезгливость требовательной и возвышенной души, не находящей в обычном житейском окружении никого, равного себе, — таковы основные свойства героини. Подобно всем своим литературным прототипам, она жаждет одиночества и чуждается радости. Она утратила всякие верования и своим презрительным спокойствием вызывает к себе благоговение и редкое уважение окружающих. В самой основе этого характера заложена невозможность счастья, которое автор вместе со своей героиней считает уделом средних вульгарных натур. Лелия, окруженная любовью, возбуждающая всепожирающие страсти, ни в одной из них не находит радости и гибнет наконец душевно убитая собственным пессимизмом. Автор не осуждает

героини, а солидаризируется с ней. Этот роман является одним из типичных произведений романтизма 30-х годов, но слава и шум, созданный вокруг него, далеко превзошли его истинную литературную ценность.

Новая школа восторженно приветствовала произведение, которое соединяло в себе все излюбленные литературные приемы романтиков. Таинственные и необычайные пейзажи, сверхчеловеческие страсти, протест против установлений общепринятой морали, разочарованность в поисках за несуществующим идеалом делали из Лелии своего рода свод всех романтических литературных новшеств. Нагроможденность фабулы и многословие не могли отталкивать людей, воспитавших себя на излишествах и приучивших себя к всенародному и нескромному самоанализу. Гюстав Планш, один из виднейших критиков романтической школы, так отзывался о романе:

«Лелия — это размышление нашего века над самим собой. Это жалоба общества, находящегося в агонии, общества, которое, отрекшись от бога и истины, покинув церкви и школы, теперь принялось за свою душу и говорит ей, что грезы ее безумны».

Однако в новом романе Жорж Санд было и нечто такое, что выделяло его из сходных по теме многочисленных произведений, порожденных эпохой тридцатых годов, и что вызвало против автора бурю негодования.

Смелость суждений, с трудом прощаемая мужчинам, делалась кощунством в устах женщины, от которой требовались только семейные добродетели. Один тот факт, что «избранной натурой» была героиня, а не герой, заострял смелую по тому времени и дерзкую мысль о равноправии женщин. На первых этапах своей борьбы за эмансипацию женщины Жорж Санд по естественному увлечению бойца впадала в тон осуждения по отношению ко всей мужской половине человеческого рода. Герой романа Стенио соединял в себе все пороки, в которых Жорж Санд, основываясь на тяжелом личном опыте, упрекала мужчин. Легкомыслие, безмолвие, развращенность отталкивали от него целомудренную и прямодушную Лелию. Цельная и благородная, она среди мужчин не могла найти себе равного, и это создавало ее одиночество.

Французский буржуа, глава семьи, хозяин своей покорной жены, не мог не обижаться на такое неожиданное нападение. Материальная зависимость семьи от мужа, узаконенная брачным контрактом, поддержанная католическим догматом о нерасторжимости брака, отдавала на его произвол судьбу и материальное благосостояние его жены. Такая установка была возможна при сохранении основных семейных принципов, признающих женщину личностью, подчиненной и зависимой по самой

своей природе. Французский буржуа был испуган появлением этого романа.

Католические пастыри, цензоры мысли французского буржуазного общества не могли простить Лелии ее поисков свободной вне брака любви. Изображенный в романе священник Магнус, одержимый всеми человеческими страстями, тяготящийся своими обетами и впадающий в преступление, оскорблял своим появлением на страницах романа всю католическую церковь. Камень против веками признанной непогрешимости церкви был брошен, и брошен рукой женщины. Католические пастыри сочли себя оскорбленными.

Официозный критик Капо де Фельид выступил с громовой статьей против Жорж Санд. Он обвинял ее в безбожии, в бесстыдстве, порочил в ней не только писателя, но и женщину. Гюстав Планш выступил в ее защиту, и дело дошло до дуэли.

Репутация безбожницы, проповедницы развращающих идей была окончательно упрочена за Жорж Санд.



Глава четвертая

Двойная ошибка

В 30-м году Сент-Бев написал следующие безрадостные строки: <Я очень мало дорожу литературными теориями, и эти теории занимают очень небольшое место в моей жизни. Что меня действительно занимает, так это сама жизнь, ее цель, тайна нашего собственного сердца, счастье, святость; иногда, когда я чувствую себя искренно вдохновленным, у меня является желание выразить эти мысли и чувства в идеальных формах вечной красоты. Если бы у меня было больше страсти к вопросам потустороннего, мое отчуждение от всего шума окружающей жизни было бы для меня большим счастьем. Я равнодушен к нему всегда и во всякое время. Я нашел способ создать себе обособленную жизнь и оставаться в одиночестве большую часть дня. К несчастью, не дорожа ничем, что меня окружает, и не слишком деятельно заботясь о спасении своей души, я нахожусь в какой-то безвоздушной сфере; это настоящий адский круг для душ бесстрастных».

Сент-Бев был человек маленького роста с большой головой. У него было круглое лицо, огромный нос, остро глядящие голубые глаза, прямые и тонкие, почти рыжие волосы. Он был мрачен и не считал нужным прятать свою мрачность в кричащие одежды. Он мало упивался своей разочарованностью, и она тяготила его потому, что была искренней. Любить людей было ему трудно, но отягощенный скукой он искал друзей и легко предавал их. Искренно он любил только книги и беседы.

С этим человеком после разрыва с Сандо особенно сблизилась Жорж Санд. Они познакомились в начале 33 года через посредство Гюстава Планша. Похвалы «Валентине» и «Индиане», расточаемые Сент-Бевом, параллельное чтение «Лелии» и недавно вышедшего в свет романа Сент-Бева «Наслаждения» создали литературное приятельство. Вскоре оно перешло в горячую дружбу. Ирония и скептицизм враждовали в душе Сент-Бева с сентиментальностью и мистицизмом. Жорж Санд восприняла только эти две последние стороны его существа.

Впоследствии иронические отзывы вырывались из-под пера Сент-Бева, но в начале дружбы он был под обаянием «Лелии». Роман был окутан мистицизмом.

Она предлагала ему роль своего духовного руководителя, и он принял

ее, польщенный, отложив до благоприятной минуты свою предательскую иронию. Его личные чувства были слишком взвинчены; он не мог предвидеть, что со временем любовные излияния станут для него утомительны и смешны.

Дружба Сент-Бева, Гюстава Планша и Марии Дорваль помогли Авроре перенести разрыв с Сандо. Гюстав Планш принял на себя роль ее защитника в глазах света. Молва тотчас откликнулась утверждением, что Планш ее любовник. Репутация добродетели, так долго и старательно охраняемая, колебалась. Как ни утверждала Жорж Санд, что страсть ее не привлекает, как ни старалась она доказать, что снисходила к близости только из чувства дружбы, — ей не верили. Ее искреннюю бесстрастность считали лицемерием. Никто не мог верить, что женщина, брошенная мужем, расставшаяся с любовником, с которым жила почти открыто в течение трех лет, могла быть не только не распутной, но самой искренно томящейся по очагу и верности душой.

Ближайшая ее подруга этой эпохи Мария Дорваль, актриса, приняла, как, и Сент-Бев, ее сердечную тоску. Мария Дорваль была мрачна, разочарована. Она не умела и не хотела строить своей жизни; выводом из всех ее страданий было отчаяние и мысли о самоубийстве. Марию Дорваль тянуло к себе разрушение так же неотразимо, как Аврору притягивало созидание. Беспечно и печально она теряла все, что было ей дорого, и презирала заботу о счастье. Благодаря таланту эта страдальческая необдуманность приобретала неотразимое обаяние. Мария умела быть гордой в падении и презрительно-равнодушной к осуждению. Она позволяла себе иметь свою собственную мораль, никому ее не навязывала и не оправдывалась. «Трагический» облик Марии Дорваль пленил Аврору.

Добрая ноганская фермерша, девственная и холодная подруга Жюля Сандо, в смятении чувств захотела стать куртизанкой. Судьба послала ей навстречу исключительно чуждого и по натуре ей враждебного человека. Сухой, строго изысканный, сдержанный в словах, брезгливый, как кошка, спокойно-насмешливый эстет и реакционер, человек, признающий хороший вкус своей единственной моралью, таков был Проспер Мериме.

Встречи его с Авророй были немногочисленны и связь их быстро оборвалась. Она пришла к нему с жалобами на жизнь и с требованием учительства, которого она ждала от всех, кого считала выше себя. Мериме не мог ей предложить никаких утешительных житейских теорий. Она хотела продемонстрировать ему степень своего пессимизма и своих любовных страданий, но многословие Лелии казалось ему безвкусицей, а любовников несчастных, равно как и счастливых, он считал несносно-

скучными собеседниками. Он был слишком хорошо воспитан, чтобы грубо обидеть женщину; она была хороша собой и нравилась ему; он предложил ей то единственное, что мог предложить: наслаждение. Ее мораль запрещала ей наслаждение, когда оно не оправдано любовью или отчаянием. Свое приключение по рецепту Марии Дорваль, свою роль куртизанки ей хотелось облечь в трагические одежды, она соглашалась на падение с непременным условием, чтобы это падение было потрясающим. Мериме не видел в этой связи ни трагических, ни возвышенных элементов. Он старался только быть галантным, веселым и остроумным. Он вел себя так, как вел бы себя со всякой другой женщиной, с которой бы его связывало взаимное влечение. Нельзя было грубее ошибаться. Она отшатнулась от него оскорбленная. Мериме отпустил ее без злобы и без особых сожалений. Он понял, что произошла «двойная ошибка», и воспользовался ею как сюжетом для новеллы. В ней он джентльменски и великодушно придал героине самые благородные черты.

Аврора чувствовала себя разбитой и униженной. Она лихорадочно искала и не находила моральных основ своему поступку, тех украшений, которые бы покрыли смешную сторону приключения.

В своем творчестве и в самооценке она давно переросла тот тип женщины, который хотел видеть в ней, как и во всякой другой, Мериме. Традиционно-вульгарное отношение к ней ее любовника еще рад подчеркнуло в ее глазах зависимость и унижительное положение женщины. Мериме оскорбил не только ее чувство, но и ее идеал. Это оскорбление было особенно тяжело со стороны человека, которого она не могла не уважать.

Глава пятая

Венеция

В 33-м году Жорж Санд была уже вполне сложившимся человеком и писателем и занимала в литературной среде видное положение. Репутация борца за освобождение женщины создала ей во всех кругах общества много друзей, но еще больше врагов. Романтическая прелесть, которой были исполнены героини ее романов — «Индианы», «Лелии», «Валентины» и «Лавинии», соблазнила не одно женское сердце не только своей проповедью свободы, но и той поэтичностью, которую придала Жорж Санд образу непонятой женщины. Описывая страдания женщин, происходящие от их рабской зависимости, от невозможности в браке руководствоваться собственным чувством, от тех материальных условий, которые как правило являлись краеугольным камнем супружества, Жорж Санд в первых своих романах еще не указывала прямого выхода из этого трагического положения. Героини ее морально, а чаще всего и физически гибли, становясь жертвами собственного свободолюбия, а критическое отношение к мужу не приносило ничего, кроме сознания безвыходности. Право на художественную деятельность было единственным выходом, который представлялся для женщины и то в очень ограниченной сфере театра. Жорж Санд только констатировала факт женской зависимости и оплакивала ее судьбу. В 30-х годах, в разгар реакции, когда буржуазное общество во главе с правительством только и старалось о том, чтобы заделать бреши, пробитые революционными вспышками в католическом и верноподданническом сознании французских граждан, такое свободное отношение к институту семьи и брака звучало резко революционно. Поколебать семью значило нанести удар одному из основных устоев буржуазного строя, одному из основных догматов церкви, а церковь стояла на страже интересов июльской монархии и следовательно была неприкосновенна.

Официальная критика учла разрушительную роль произведений Жорж Санд. Учли ее и хранители семейных устоев, рантье, чиновники и провинциальные обыватели. Женщины зачитывались «Валентиной» и «Индианой». Чувство протеста находило в этих романах и свою санкцию и свое поэтическое оправдание. Индиана и Лелия породили многочисленных подражательниц, и враги Жорж Санд не замедлили тотчас сделать ее

ответственной не только за настроения ее читательниц, но и за все семейные драмы, носящие элемент тех зол, на которые она указывала. Даже благожелательная критика, восторгаясь Жорж Санд, признавала разлагающее влияние ее романов на семью.

Гейне писал:

«Ее произведения, которые потоком разлились по всему свету, осветили не одну темницу, лишенную всякого утешения, но зато они же сожгли губительным огнем и много тихих храмов невинности».

Личная жизнь Жорж Санд только способствовала озлоблению ее врагов. В глазах обывателей эта простодушная женщина, многословно и искренно повествующая о страданиях женщин, которые ни для кого не были тайной, рисовалась чудовищем, вырожденком человеческого рода, от которого надлежало железной стеной охранить невинные сердца жен и дочерей.

Слухи, сплетни, клевета выросли до размеров легенды вокруг имени Жорж Санд, а ее мужской костюм стал своего рода символом развращенности и протеста.

Эта женщина, в равной степени окруженная гонением и поклонением, не могла не заинтересовать молодого Мюссэ.

На обеде в Freres Provenceaux завязалось литературное знакомство; оно выражалось в официальной переписке, в обоюдных похвалах и в беседах. Прочтя «Индиану», Мюссэ послал Авроре восторженное стихотворение. На экземпляре вышедшей в свет «Лелии» она сделала ему надпись, говорящую о происходящем уже сближении: «Мальчишке Альфреду — Жорж».

Альфред де Мюссэ принадлежал по рождению к подлинному аристократическому кругу. Он был небогат и как все небогатые аристократы разочарован. С ранней юности он презирал жизнь, давшую ему слишком мало, и брезгливо относился к труду. Титул его в условиях царствования Людовика-Филиппа был пустым звуком; состояния у него не было. Детство его прошло среди воспоминаний о революции и легенд о походах Наполеона. У него был талант и он был мечтателен. Он хотел слишком многого и рано понял, что не может достичь ничего. Презрение ко всему стало его жизненным убежищем, но в этом убежище ничто его не согревало.

Ему было семнадцать лет, когда он написал своему другу Полю Фуше письмо, полное раннего, но уже неизлечимого разочарования:

«Мне скучно и я печален, я не нахожу в себе сил даже для работы. Да и что мне делать! Взвалить на себя какую-нибудь устаревшую должность?»

Оригинальничать вопреки самому себе. С тех пор, как я читаю газеты, все стало мне представляться безнадежно плоским. Итак, я ничего не делаю. Я чувствую, что самое большое несчастье, которое может случиться со страстным человеком, это не иметь страстей. Я не влюблен, у меня нет ничего. У меня нет привязанностей; я отдал бы свою жизнь за два гроша, если бы для того, чтобы прервать ее, не приходилось прибегать к смерти. Я не нахожу в себе силы мыслить. Если бы я сейчас находился в Париже, я погасил бы остатки своих благородных чувств в пунше и пиве и почувствовал бы облегчение. Ведь дают же опиум больным, хотя и знают, что он может вызвать смертельный сон. Я также хотел бы поступить со своей душой».



Скептицизм, выражавшийся в кутежах и попойках, больше походил на отчаяние. Таким же неизбывным отчаянием были насыщены и его привязанности. Любовь была его единственной реальностью, она неизбежно переходила в страсть.

Жорж Санд надеялась вернуть «свое дорогое дитя» к чувствам христианина и труженика. Она мечтала о взаимном усовершенствовании; он думал только о любви.

Весь литературный Париж был оповещен о связи двух писателей, так как Жорж Санд сочла нужным таким путем легализовать свою любовь. Сент-Бев, друг и наперсник, принимал излияния. Письма Авроры были похожи на отчеты страстно преданной своему воспитаннику гувернантки; она радовалась его исправлению, анализировала его характер. В этих письмах чувствовалась гордость хорошего педагога.

«Ежедневно я вижу, как в нем исчезают те мелочи, от которых я страдала, и как все больше блещут восхищающие меня черты. Кроме всех других качеств, он еще и добродушен. Близость его мне так же сладостна, как ценно было оказанное мне предпочтенье».

Несколько недель они были почти счастливы. Причиной кратких ссор всегда являлась веселость и остроумие Мюссэ. Он хотел в любви радости. Она подчеркивала серьезность своей педагогической задачи и давала понять Мюссэ, что соединилась с ним не столько для наслаждения, сколько для выполнения морального долга. Этот моральный долг вносил в их отношения тяжесть и скуку.

Первые неясные трения заставили любовников мечтать об одиночестве; мысль о несостоятельности их любви ни тому, ни другому еще не приходила в голову. Все тягостное они относили за счет окружающих и в своем начавшемся внутреннем глухом поединке винили житейские обстоятельства. Путешествие в Италию, в страну, излюбленную романтиками, казалось им венцом всех мечтаний.

В середине декабря 1833 года Жорж Санд и Альфред де Мюссэ выехали из Парижа. Дети Жорж Санд, Морис и Соланж, оставались на попечении отца и бабушек; материальные средства, которыми располагали влюбленные, были ограничены и, помимо забот об оставленных детях, Жорж Санд увозила с собой целый груз издательских обязательств. Альфред де Мюссэ относился к путешествию, как к беспечному бродяжничеству.

После длительного путешествия через Флоренцию, Геную и Пизу Альфред и Аврора поселились в Венеции в отеле Даниэли.

Двадцатитрехлетнему романтику Венеция казалась Эдемом. Ему легко дышалось морским соленым воздухом на площади Св. Марка. Воображение его было полно тех связанных с Венецией образов, которыми бредили все романтики: влюбленные дожи, беспечные гондольеры, Казанова, пробирающийся по узким переулкам к возлюбленной. Когда

кончался день, насыщенный солнцем, бродяжничеством по сырým и тихим музейным залам, Венеция расцветала своим ночным пышным великолепием. С большого канала поднималась музыка. Мюссэ нетерпеливо хотелось счастья; оно должно было быть всепоглощающим. Он любил Аврору.

Утомленная дорогой, Аврора, приехав в Венецию, заболела. Она в начале пути взяла на себя все обязанности матери, казначея, главы семьи. Эти заботы снижали удовольствие и не позволяли целиком отдаваться роли влюбленной.

На площади Св. Марка слышалась музыка. Аврора зажигала на столе лампу и принималась за работу. Венецианский нескончаемый праздник не мог заставить ее забыть о долге Бюлозу, редактору «Revue des deux Mondes». Она писала рассказ «Маркиза», Мюссэ пробовал тоже работать. Он чувствовал себя в роли ученика, которого засадили за уроки, и в нем поднимался бунт. Он звал ее с собой, ему хотелось убедиться, что она, как и он, во власти влюбленности, разрешающей человеку житейскую путаницу и опасную беззаботность. Она неумолимо продолжала писать. Он делал ей сцену и уходил один. Взаимное непонимание скоро превратилось в трагедию. Чем безнадежней и недостижимей казалась ее первоначальная цель перевоспитания, тем с большей настойчивостью она к ней привязывалась. Чем бешеней Мюссэ старался разрушить в ней ее проповедничество и учительство, тем страстней она цеплялась за это оружие, веря безусловно в свою конечную победу.

Не только как любовники, но и как товарищи по работе они переставали понимать друг друга. Аристократ Мюссэ считал творчество делом вдохновения. Труд он презирал, считая его уделом вульгарных натур. Жорж Санд, прошедшая тяжелый путь житейской борьбы, знала цену труда, уважала свою работу и требовала и от других уважения к ней. Женщина в глазах Мюссэ могла иметь только одну цель — нравиться и украшать собой жизнь избранного ею мужчины; в таких пределах он допускал у своей подруги духовные интересы; Жорж Санд ставила эти интересы выше своих личных чувств, а к своей работе не могла относиться как к баловству хорошенькой женщины. За беспечным и ленивым Мюссэ она не признавала права нарушать правильное течение часов, посвященных работе. Такое твердое исполнение своих писательских обязательств Мюссэ считал педантизмом или признаком недостаточно сильной любви к нему.

Вскоре их жизнь сделалась адом. Раздражение в нем росло — она не могла понять и устранить его причины. В досаде он проиграл в игорном доме крупную сумму, и она, не произнеся ни слова упрека, заплатила его

долг и снова засела за письменный стол, чтобы покрыть работой непредвиденный расход. Ее великодушные поступки вызывали в нем злобную реакцию; он стал кутить и пить.

Слабый здоровьем, морально разбитый, Мюссэ свалился наконец под бременем этой жизни. В начале февраля 1834 года он заболел. Первые признаки болезни были устрашающие. У его изголовья Аврора переживает минуты страха; ее святая любовь привела возлюбленного к могиле. Страшная ответственность за непонятное ей преступление ужасает ее.

«Дитя мое, — пишет она своему другу Букуррану, — я все еще достойна сожаления. Он действительно в опасности. Нервы мозга так поражены, что бред ужасен и непрестанен. Сегодня, впрочем, необыкновенное улучшение. Но прошлая ночь была ужасна. Шесть часов длилось такое исступление, что, несмотря на старания двух здоровых мужчин удержать его, он голый бегал по комнате. Крики, пение, вой, судороги, о боже мой, боже мой, какое зрелище! Он чуть не задушил меня, обнимая.

Доктора предсказывают такой же припадок и на следующую ночь. Хватит ли у него сил переносить такие ужасные припадки! Как я несчастна! И вы, зная мою жизнь, можете ли представить себе что-нибудь худшее для меня? Передайте это письмо Бюлозу, потому что он, вероятно, интересуется здоровьем Альфреда, а я не в силах писать ему сама. Попросите его не оставлять меня без денег в этом ужасном положении. К счастью, я наконец нашла хорошего молодого доктора, который не покидает его ни днем, ни ночью и который дает ему лекарство, действующее очень хорошо».

В этом письме больше жалости к самой себе, чем искренней тревоги о больном. Ей нужно было призвать на помощь всю свою непоколебимую волю, чтобы довести до конца роль любящей матери. Но прелесть и обаяние этой роли потускнели; долг теперь был уже не воображаемым, а сурово продиктованным жизнью и необходимостью. Покинуть больного умирающего Мюссэ было невозможно ни перед людьми, ни перед собственной совестью. Но душевно она рвалась прочь от него — и от невыносимой обстановки угасающей любви, и от безобразной болезни.

В лице доктора Пиетро Паджелло судьба послала ей помощника и утешителя. Пиетро Паджелло был цветущий здоровьем, добродушный и спокойный итальянец. Авроре нужны были опора и простота. И то, и другое она нашла в Паджелло. Он был добр и незатейливо сердечен. Этот мужественный человек по сравнению с жалким, истощенным белой горячкой Мюссэ произвел на Аврору неотразимое впечатление.

Но она была последовательницей романтической школы. Себя и Мюссэ она считала достаточно избранными натурами, чтобы поднять на себя бремя небывало-запутанных и незнакомых вульгарному человечеству чувств. Влюбленный и простоватый Паджелло по добродушию согласился на роль, которую ему деспотически навязывала его поэтическая подруга.

Вернувшийся к сознанию Мюссэ узнал о своем разрушенном счастье из уст самой Авроры. Доктор Паджелло в ее передаче вовсе не был счастливым соперником, которого она предпочла Альфреду. Первое место по-прежнему занимал в ее сердце Альфред, хотя вместе с тем это первое место принадлежало Паджелло. Это было слияние трех душ, столь возвышенное, что становились неважными их конкретные житейские взаимоотношения. Мюссэ оставался по-прежнему ее возлюбленным сыном. Паджелло, любя ее, также усыновлял Мюссэ; Паджелло не только не торжествовал, но вместе с расставшимися любовниками оплакивал их разрыв.

Разбитому, ослабевшему от болезни Мюссэ оставалось только благословлять своих спасителей; рыдая, он соединил их руки, и все трое поклялись в вечной дружбе.

Эта покорность очаровала Жорж Санд как признак перерождения, которого она так тщетно добивалась в течение их связи. Ее материнская педагогическая роль увенчалась успехом. Она писала Букуорану:

«Наше расставание с Альфредом дало мне много силы. Мне было отрадно видеть, как этот атеист в любви, этот легкомысленный человек, неспособный, как мне казалось, привязаться ко мне, становился со дня на день все более добрым, любящим, открытым».

В Венеции Жорж Санд и Паджелло обрели покой. Возвратившись к простоте и уюту, Жорж Санд чувствовала воскрешение всех своих способностей.

Ее творчество, подавляемое столько времени противодействием Мюссэ, наконец освободилось. Паджелло не только не мешал ей писать, но благоговел перед ее работой. Итальянские впечатления, пережитые чувства — все это искало выхода. Стремление к высказываниям, столь характерное для Жорж Санд, могло наконец найти полное удовлетворенье. Последние месяцы, проведенные в Венеции, ознаменовались созданием целого ряда произведений: «Жак», «Леоне-Леони», «Андре», «Личный секретарь», «Габриэль» и «Альдо-стихотворец» — все эти повести и романы или написаны, или задуманы в Италии.

Любовная драма, тяжело отразившаяся на душевном состоянии Жорж Санд, оказалась благотворной для Жорж Санд — писателя. С формальной

стороны общенье с таким мастером слова, каким был Мюссэ, внесло благотворные поправки в ее доселе растрепанную манеру письма. Оставаясь по-прежнему многословной (от этого недостатка экспансивная Жорж Санд не могла исправиться), она начинает внимательнее относиться к эпитетам и выбору слов вообще, избегает прежних маловыразительных туманных определений и достигает большей четкости в фабуле. Отточенное изящество, характерное для Мюссэ в самых незначительных его безделушках, не могло никогда перейти на страницы всегда тяжеловесных произведений Жорж Санд, но влияние его несомненно, и благодаря этому влиянию Жорж Санд избавилась от многих слишком громоздких приемов своей прежней манеры. В «Альдо-стихотворце» она даже сделала попытку прямого подражания, создавая роман в диалоге наподобие комедий Мюссэ. Этот первый театральный опыт не оказался удачным, и, впоследствии возвращаясь к драматургии Жорж Санд продолжала оставаться нечуткой к специфике театра, предъявляющей совсем особые требования конкретности, столь чуждые ее основной творческой стихии.

Но отношения с Мюссэ, помимо его чисто-художественного влияния, имели и другое неизмеримо более важное значение в творчестве Жорж Санд. На опыте своих личных отношений с Мюссэ, она наконец нашла ответ на те вопросы, которые, до сих пор неразрешимые, волновали ее. В «Индиане», «Валентине» и «Лелии» она говорила о трагическом положении женщины в буржуазной семье и обществе. В «Жале», «Габриэле» и «Личном секретаре» она находит выход из этого положения и указывает на него. Добровольный уход Мюссэ из ее жизни, рыцарское уважение, проявленное им по отношению к ней и Паджелло в момент разрыва, представляются ей тем идеалом человеческих взаимоотношений, которого она искала и не находила вокруг себя. Предоставить свободу человеческим чувствам, не связывать их никакими обязательствами житейского порядка, дать женщине возможность жить и любить согласно со своими склонностями — таково найденное ею наконец лекарство против векового угнетения женщины.

В «Габриэле» женщина рисуется уже не жертвой, а решительным борцом за свою самостоятельность; такова же и Квинтилия, героиня рассказа «Личный секретарь», заключающая втайне брак, делающий ее счастливой, но не налагающий на нее никаких обязательств мелкожитейского порядка по отношению к мужу. Брак как свободное и равноправное товарищество — таков идеал Жорж Санд.

Но нигде мысль о равенстве в браке мужчины и женщины, мысль,

столь дерзкая в эпоху 30-х годов, не нашла себе такого яркого выражения, как в романе «Жак», где Жорж Санд рисует положительный тип мужчины и мужа: Жак, узнающий о любви жены к другому, предоставляет ей свободу и уходит от нее. Презрение и клевета, преследующие женщину, нарушившую брак, неминуемо должны обрушиться на его неверную жену. Чтобы избавить любимую им, хоть и охладевшую к нему, женщину от преследований общественного мнения, великодушный Жак кончает самоубийством, придавая этому самоубийству видимость случайной смерти.

«Жак», написанный весной 1834 года под очевидным влиянием только что пережитого разрыва с Мюссэ, произвел огромное впечатление на современников. Широкий взгляд на вопросы чувства, прямой вызов, брошенный католическому догмату нерасторжимости брака, создали роману огромную славу; она вышла далеко за пределы Франции, и революционная проповедь освобождения женщины нашла большое количество сторонников во всех странах Европы. «Жака» переводили на все языки. Представители реакционной официальной идеологии монархической религиозной Европы на страницах газет и журналов с яростью напали на автора разрушительных произведений. После напечатанья «Жака» Жорж Санд сделалась больше чем когда бы то ни было мишенью для насмешек и клеветы. Проповедь ее действительно разливалась пожаром, и простодушная Аврора Дюдеван, так много страдавшая в своей личной жизни от незаконности своего положения и так старательно ищущая брачного и супружеского счастья, сделалась опорой всех угнетенных и томящихся в цепях супружества женщин.

Венецианские произведения превратили известность Жорж Санд в европейскую славу.

Глава шестая

Париж

Декорация должна быть в согласии с происходящими в ее рамках событиями. Жорж Санд не учитывала нелепости перенесения своего венецианского приключения на парижскую почву. Здесь у нее были друзья, литературная слава и иная слава, не менее ей дорогая — слава избранной натуры. Париж потребовал своего. То, что могла себе позволить никому неизвестная французская путешественница, было запретно для знаменитой писательницы Жорж Санд. Литературный Париж и враги ее с насмешливым любопытством ждали дальнейшего развертывания драмы. Друзья и родственники Мюссэ клеветали: Поль де Мюссэ оплакивал брата, попавшего в руки недостойной женщины, ближайший друг Мюссэ — Альфред Таттэ старался излечить рану своего друга каленым железом искренности, лукавый Сент-Бев готовился к роли наперсника и миротворца, в Ла-Шатре и в Ногане своим чередом наматывался клубок провинциальной сплетни. Счастливого соперника Мюссэ ждали с недоброжелательным любопытством.

Войти в этот насмешливый, злобствующий круг под руку с тяжеловатым, добродушным Паджелло было актом большого героизма. Жорж Санд совершила его, но с первых же шагов в парижских литературных салонах она поняла, что герой ее освистан: в романтизме он был безграмотен, в литературе слаб, в драме между ней и Мюссэ он сыграл только благородно-пассивную роль.

Мюссэ попросил свидания. В этом свидании та, которая называла себя его матерью, не могла отказать. Предстояло возобновить венецианские сверхчеловеческие чувства.

Смех и шум вокруг трагикомедии возрастали. Появляясь где-нибудь с Паджелло, Жорж Санд чувствовала, что носит на себе, как пятно, его близость. Сент-Бев осторожно сводил ее с прежним любовником. Этот прежний любовник при создавшихся новых обстоятельствах показался ей пленительней, чем когда бы то ни было. Роль матери и друга стала казаться ей недостаточной, и она поняла наконец ее неуместность рядом с настоящей страстью Мюссэ.

Растерянный среди всех этих психологических сложностей, Паджелло наконец решительно отстранился. Жорж Санд попробовала установить с

ним такие же отношения, какие были у нее с Мюссэ после разрыва. Паджелло отклонил эти попытки. Жорж Санд и Мюссэ опять остались вдвоем.

Слишком многое было пережито; и у того, и у другого было слишком много остро-горестных воспоминаний, чтобы было возможно какое-нибудь счастье. Мюссэ не мог забыть прежней боли и мстил за нее ревностью и недоверием. Жорж Санд пыталась обезоружить его раскаянием и кротостью. После венецианского опыта он не верил ни в то, ни в другое. Их отношения с каждым днем ухудшались.

Впоследствии в «Исповеди сына века» Мюссэ обвинил самого себя в разрушении этой любви. Он так вспоминал эти дни:

«После этих ужасающих сцен, упреков и обвинений, во время которых мой разум истощался, изобретая пытки для моего собственного сердца, полного жажды страдания и ищущего этих страданий в прошлом, меня охватывала странная нежность, восторг, доведенный до предела, заставлявший меня обращаться с возлюбленной, как с божеством. Оскорбив ее, я бросался перед ней на колени; как только я переставал обвинять, я начинал вымаливать прощение; как только я переставал насмехаться, я начинал рыдать. Меня охватывал бред, лихорадка счастья, горестный восторг, — сила этих взрывов туманила рассудок; я не знал, что делать, что говорить, что изобрести, чтобы исправить нанесенные обиды. Я падал обессиленный и засыпал, а пробуждался с улыбкой на устах, смеясь надо всем и ни во что не веря».

Море клеветы, которое разрасталось вокруг их венецианского путешествия, толкало Мюссэ на новые и новые сцены ревности и обвинения. По обычаю романтиков любовная дуэль требовала большого количества секундентов. Секунданты давали обильные информации и памфлеты и литературные ссоры сопровождали этот слишком шумный роман. Замученный непрерывными письмами и излияниями, Сент-Бев наконец с досадой вышел из игры, которую сам затеял. Он осторожно дал понять, что роль врача около больного, не желающего выздороветь, ему наскучила.

Наконец 6 марта 1835 года ближайший друг Авроры Букуоран получил от нее следующее знаменательное письмо.

«Мой друг! Помогите мне уехать сегодня, ступайте в почтовую карету в полдень и удержите для меня место. Потом заходите ко мне, и я скажу, что надо делать. Впрочем, на тот случай, что мне не удастся поговорить с вами, так как заботливость Альфреда очень трудно обмануть, — я вам сейчас все объясню в двух словах. Вы придете ко мне в 5 часов с

озабоченным и деловым видом, вы скажете мне, что моя мать только что приехала, что она довольно серьезно больна и что мне нужно тотчас пойти к ней. Я надену шляпу, скажу, что скоро вернусь, и вы меня усадите в карету. Зайдите днем за моим дорожным мешком, вам будет легко унести его незаметно, и вы отнесете его в контору. Прощайте. Приходите тотчас, если можете, но если Альфред будет дома, то не имейте такого вида, точно вам нужно мне что-нибудь сказать. Я выйду в кухню, чтобы поговорить с вами».

Так таинственно, преднамеренно и обдуманно она бежала наконец из своей тюрьмы. Это бегство было последним. Ни страсть, ни тоска о любимом ничто уже не могло принудить ее надеть на себя вновь эти несносные цепи. Еще несколько времени длилась переписка с друзьями, обсуждение происшедшего, но любовь постепенно стала переходить в область воспоминаний, а обсуждения друзей превратились в литературную полемику.

Жорж Санд впоследствии спокойно говорила о своем друге, как о соучастнике юношеских давно изжитых бредней; для Мюссэ боль разрыва оставалась вечно живой, и злая память через много лет подсказала ему горестные стихи, написанные по поводу случайной встречи с прежней возлюбленной.

Я видел, как она, чей образ вечно-милый,
Как неба лучший дар, душа моя хранит,
Как стала вдруг она сама живой могилой,
Где прах любимый спит.

Праха молодой любви, так рано охладелой,
Которую досель лелеять мы могли б,
Нет, здесь не жизнь одна, здесь мир затмился целый,
Затмился и погиб.

Мы снова встретились. Она была прекрасна,
Еще прекраснее быть может, чем тогда,
Огня лучистых глаз, сиявших так же ясно,
Не тронули года.

Но взгляд их был не тот, который так отрадно,
С такую ласкою тонул в глазах моих.
В любимые черты я всматривался жадно,

Не узнавая их.

Я мог бы подойти, пылая гневом скрытым,
К ней, кем осмеяны надежды и мечты,
И крикнуть ей: «Что с прошлым позабытым,
Что сделала с ним ты».

Но нет! Подумал я, что для других незримо
В знакомые черты чужая облеклась,
И молча пропустил я бледный призрак мимо,
Не поднимая глаз.

Какое-то смутное неясное чувство вины перед Мюссэ было единственным неизгладимым последствием, которое осталось в жизни Жорж Санд. Она радостно приняла «Исповедь сына века», в которой нашла свое великодушное оправдание. Она пролила над ним слезы и после смерти Мюссэ захотела личным своим свидетельством закрепить за собой свою правоту. Ее роман «Она и он» — это жалоба добродетельной тихой женской души на несправедливого страстного человека, нарушившего ее покой и не сумевшего оценить преданности ее любви, вызвал гнев ревнивого защитника памяти Альфреда де Мюссэ, его брата Поля.

Его роман «Он и она», написанный в тоне грубого памфлета, вновь поднял угасшие страсти и сплетни вокруг Авроры. Она была уже не молода, когда разгорелись споры вокруг этого интимнейшего вопроса. Она страдала и защищалась горячо. Она поняла еще раз, что попытка сверхчеловеческой любви была насилием над ее основными душевными склонностями. И она не пожалела о том, что в марте 1835 года нашла в себе волю и мужество, как преступник из тюрьмы, бежать от истинного романтика — Мюссэ.

Крайний индивидуализм романтиков постепенно изживался.

Общественные события, ознаменовавшие четвертое десятилетие XIX века — подавление польского восстания, июльская революция, революция в Италии — привели к общеевропейской реакции и создали одновременно обострение социальных противоречий, которые живо ощущались представителями передовой общественности. Жизнеспособные элементы французской интеллигенции не могли более оставаться замкнутыми в сфере узко-личных интересов формальных вопросов искусства или разрешения семейно-бытовой проблемы. Революционные настроения

захлестывали буржуазную литературу. Наступало время революционного романтизма. Затихали голоса певцов любви и беспредметной скорби Альфреда де Виньи и Мюссэ. Мало склонный к вопросам политики Гюго искал для себя политического credo и сменил монархические убеждения на республиканство. Усиливающееся рабочее движение возрождало надежды мелкой буржуазии на переворот, а утопический социализм, возглавляемый сен-симонизмом, давал новую пищу поэзии и литературе. Жорж Санд отдала дань эпохе индивидуализма. В «Лелии», «Индиане», «Валентине», «Жаке» она перепела на все лады права чувств, законность страсти, любовь, свободу морали избранных натур. Как писатель она искала новых тем, как человек она искала новых основ для подкрепления своего пошатнувшегося мироотношения. Она охотно и, как всегда, многословно заявляла, что навсегда отказалась от любви, которая «так же идет к ней, как венок из роз шестидесятилетней голове», но продолжала наивно верить в дружбу. В беседах и письмах она старалась отыскать для себя тот новый облик, который примирил бы почтенность с ролью глашатая новых истин и становившийся обязательным для писателя радикализм с органической буржуазной добродетелью.

Она не была злопамятна, и Сент-Бев, не сумевший до конца доиграть роль наперсника в ее романе с Мюссэ, снова выступил на первый план, как духовный руководитель и исповедник. Он охотно отвечал на огромные послания Жорж Санд и по старой привычке рассуждать и советовать выслушивал и обсуждал душевную драму, к которой относился больше как к светскому философствованию, чем как к подлинному и больному искательству. Жорж Санд не могла или не хотела догадываться об этом; возвышенная лесть, которые оба друга великодушно расточали, возмещала недостаток искренности.

Первым утешением для аристократки и ноганской фермерши, которых соединяла в себе Аврора Дюдеван, была, разумеется, религия. Она давно отказалась от обрядов и от житейских установлений, продиктованных католической церковью, но слишком глубоки были корни, приковывающие ее к классу земельной буржуазии, чтобы она смогла отказаться от религии. Ее ни к чему не обязывающее вольнодумство благоразумно остановилось на пороге бунтарства и атеизма. В условиях ее быта они могли быть только плохими советчиками в деле разумного устройства жизни.

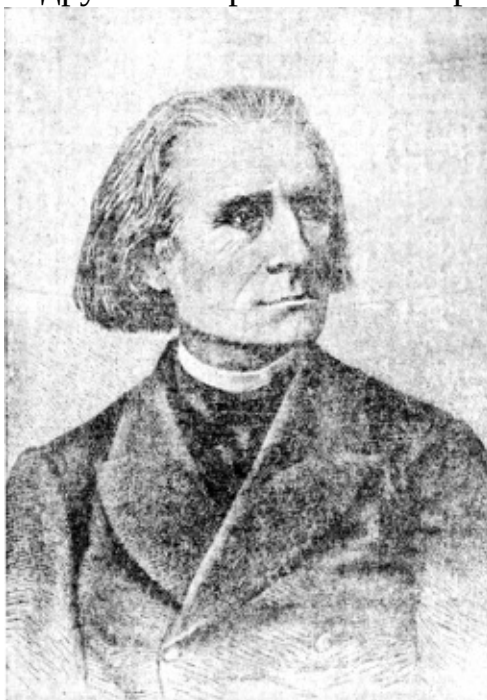
«Боже мой! Что делать со своей силой, — писала она Сент-Беву. — Куда деть ее. Какое вы ей нашли применение? Скажите, скажите же скорей! Вы отдали куда-то, в какое-то святилище вашу молодость, ваши сомнения, ваши страдания? Неужели же в самом деле в христианство? Но как сделать,

чтобы войти в этот храм?

Я хочу покорно ждать, что провиденье ниспошлет мне какое-нибудь средство делать добро. Я еще не знаю, существует ли оно, так как то, которое мы все более или менее осуществляем, не кажется мне заслуживающим такого прекрасного названия. От чего я хотела бы научиться добровольно отказываться — это от личного удовлетворения. Я хотела бы дать своим детям почтенную старуху-мать. Ах, если б я была уверена, что добродетель есть именно то, о чем я прежде мечтала, как бы я скоро к ней вернулась, я, чувствуя в себе столько сил, которых некуда применить! Но где вновь обрести это желанье, эту веру, эту надежду? Молитесь обо мне, если бог слышит ваши молитвы, молитесь о всех несчастных людях».

Сент-Бев, давно растерявший все свои верования, откликнулся в тон этим пламенным призывам. Но сквозь советы христианина и льстивые эпитеты, расточаемые женщине, озаренной «лучами гения», слышались ноты скептицизма. Успокоительные фразы об идеальной свободе духа, в которой только и можно найти нравственное удовлетворение, были безответственны и не давали в руки никакого конкретного жизненного рецепта.

Еще в начале 35 года Мюссэ познакомил Жорж Санд с Францем Листом, но завязавшаяся дружба оборвалась из-за ревности Мюссэ.



Теперь Жорж Санд вспомнила о прерванных отношениях. Двадцатичетырехлетний Франц Лист переживал молодой и бурный период

жизни. Его слава пианиста росла, связь его с великосветской красивой женщиной графиней д'Агу, бросившей ради него мужа и детей, вносила в его жизнь элементы остроты и романтизма. В июльские дни он весь отдался революционным надеждам и за ними последовало резко переживаемое разочарование. Жизнь его была пестра, знания беспорядочны, вкусы переменчивы. Он искал убеждений и верований с молодой настойчивостью и прятался от сомнений. Он был далек от иронии и скептицизма, юмор его был добродушен, отношения к людям доверчивы, цельны и лишены критики. Дружбу, которую ему предлагала Жорж Санд, он принял благоговейно и преданно. Будущему аббату и аскету в двадцать четыре года в разгар любовных переживаний уже казалась идеалом девственность и бесстрастность, провозглашаемая покончившим все счеты с любовью «великим Жоржем». Напряженность духовных интересов, страсть к искусству связала эти две столь сходные внешне и столь различные по существу натуры.

Изящная графиня тактично скрыла высокомерное недоумение, которое вызывали в ней богемные манеры и нарочито-простоватый и мужественный тон Авроры Дюдеван. Потеряв великосветский салон, она возмещала его салоном литературным и с замаскированным женским коварством принимала все чудачества представителей «литературной республики». Между ней и Жорж Санд завязалась дружба, выражающаяся во взаимных похвалах. Графиня д'Агу тайне презирала небрежно одетую, демонстративно некокетливую Аврору; Аврора видела в графине только некоторую женскую прелесть, ценность которой считала ничтожной по сравнению с собственной духовностью. Лист не замечал наигранности этих отношений, приведших впоследствии обеих женщин к сарказмам и наконец к откровенной вражде.

Франц Лист первый познакомил и сблизил Жорж Санд с сен-симонистами.

Опирающаяся на теорию прогресса доктрина Сен-Симона отрицала законы собственности и провозглашала труд основой жизни. Сен-симонизм ставил себе целью моральное и физическое улучшение быта самого многочисленного класса — трудящихся. Конкретные меры, предлагаемые для устранения имущественного неравенства и для установления царства труда, носили мирный эволюционный характер проповедничества и благотворительности. Стремление сен-симонистов было не столько направлено к практическому проведению в жизнь своих взглядов, сколько на разработку теории, осуществление которой считалось делом далекого будущего. Эти теории обрастали мистицизмом и обрядами, которые

обращали зарождающийся социализм в религию, являющуюся лишь новым вариантом христианства. Грядущая ремесленно-крестьянская утопическая община мыслилась как некий мистический союз, основанный на любви и справедливости.

Христианский социализм очаровал Листа своей новизной; для Жорж Санд он был наиболее приемлемой современной доктриной, сочетающей в себе веру, революционность без бунтарства и квиетизм эволюционистских теорий. Как дворянка она приветствовала демократизм, в котором первенствующее место оставлялось духовной аристократии, благотворительствующей и пекущейся о благе «меньшой братии», как помещица она сочувствовала тому значению, которое придавалось сенсимонистами классу земледельческому. Просвещать народ, лечить его, приучать к благородным забавам, приобщать его к достижениям науки и искусства — таков был идеальный жизненный рецепт, который она нашла в учении Сен-Симона. Это как нельзя больше подходило к ее наклонностям дамы-патронессы, а религиозная, евангельская, но не клерикальная основа учения мирила ее одновременно со всеми тревогами совести.

Весной 35 года, через два месяца после разрыва с Мюссэ, душевные ее раны затянулись, и ей казалось, что она обрела полный покой.

Ноган, любимые пейзажи Берри, попечительная дружба с соседними крестьянами, новые литературные темы, духовное совершенствование, переписка с Листом, воспитание детей — таков был безмятежно начертанный план жизни.

Барон Казимир Дюдеван, изъятый из жизни в течение четырех лет, однако продолжал существовать. Постепенно и не слишком чувствительно он за эти годы из вполне самостоятельной личности — помещика, аристократа и главы семьи — перешел на мало льстящую ему роль «мужа Жорж Санд». В приговоре общественного мнения передовой интеллигенции, которая не только оправдывала, но и возвеличивала образ жизни его жены в Париже и Италии, он ничего не понимал, но подчинялся ему по лени и равнодушию. Декорум внешне приличных отношений сохранился. Супруги посылали письменные приветы и поцелуи и тревожились о здоровье друг друга. Жорж Санд внушала детям послушанье и уваженье к отцу, Дюдеван также не покушался на ее авторитет. Помимо звания мужа и жены, их связывала общность материальных интересов. Дюдеван высылал жене пенсию и нес на себе ответственность за управление Ноганом. Приезжая в Париж, Дюдеван посещал салон своей жены и с достоинством выдерживал мало благожелательные взгляды, направленные на него. Кратковременность этих

посещений не давала ему возможности достаточно резко ощутить унижительность своего положения. Он уезжал в Ноган и утешался сознанием свободы и обеспеченности.

Как ни мало страдал он душевно от разрыва с женой, его разрушенная семейная жизнь исказила основные свойства его натуры, и его прежняя фермерская бережливость заменилась беззаботной распущенностью недобросовестного арендатора: Ноган принадлежал Авроре, рано или поздно она могла предъявить свои права на него; эта мысль подрезывала в корне все его помещичье благоразумие. В кутежах, попойках и беспечно-сытом житье таяло некогда большое состояние Дюпэнов де Франкейль. Хозяйственная Аврора при каждом кратковременном приезде в Ноган обнаруживала бреши, нанесенные ее имуществу. Между ней и Казимиром вспыхивали сцены вечно тлеющей вражды; но они быстро разъезжались, и удобные для обоих прилично-вежливые отношения восстанавливались. Тем не менее тревога за свое состояние и состояние детей постоянно терзала Жорж Санд. «Он проел свои 80 000 франков, — писала она, — и ни на грош не увеличил моего состояния. Если так будет продолжаться, то меньше, чем через десять лет, я буду разорена». Арендатор чувствовал свою неправоту перед землевладельцем, но оскорбленный муж имел в руках богатый обвинительный материал против неверной жены. Оба имели право упрекать друг друга.

Пребывание Авроры в Ногане весной 1835 года носило временный характер. В Ногане не только нельзя было найти покоя, но даже поверхностное приличие сразу разрушалось. Дети были уже достаточно велики; Аврора пыталась скрыть от них свою вражду с мужем, но Казимир был груб и непосредственен. Соланж и Морис сделались свидетелями семейных сцен. Сводились денежные счета, и совершенные растраты приводили в ужас хозяйку Ногана. О добропорядочности нечего было думать. Аврора предложила мужу покинуть Ноган и предоставляла ему возможность свободной жизни холостяка в Париже. Сменить приволье помещичьей жизни на утомительные развлечения столичных бульваров ему не хотелось. Жизнь толкала Жорж Санд к прежней богемной жизни. Мечты о покое не осуществлялись. Заключив с мужем договор о разделе имущества, она вернулась в Париж.

Не тревожившие ее покоя идеи сен-симонистов создали ей в реальной жизни целый ряд новых знакомств и интересов. Она чуждалась политики и страшилась партийной борьбы, как явления, несущего в себе элементы бунтарства, но успех христианского социализма и его широкое распространение объяснялись именно теми жизненными сторонами

доктрины, которые она не умела и боялась воспринять. Этими своими сторонами утопический социализм соприкасался с политическими партиями и отвечал надеждам рабочего класса. Сей-симонистские друзья, как Геру, полагавшие, что нашли в Жорж Санд пламенного адепта своего учения, тянули ее вслед за собой в самую гущу политической жизни. Она отстаивала свою позицию свободного художника и беспартийного наблюдателя, но ее живая любознательность и обязательства передовой женщины не позволяли ей ограждать свой внутренний мир от идейных вторжений кипящей политическими страстями эпохи.

Она писала Геру:

«Я не хочу стоять под знаменем какого-либо вождя; я сохраняю почтение и удивление к тем, кто честно исповедует какую-нибудь религию, и все-таки я убеждена, что под небом нет человека, заслуживающего преклонения. Я беседовала с сен-симонистами, с карлистами, с Ламеннэ, с представителями умеренного центра, а вчера с воплощенным Робеспьером. Я нашла у всех этих людей большое количество добродетели, честности, ума и смысла, но среди этой борьбы сект, занятых возрождением человечества, я замечаю бесполезную трату великодушных чувств и высоких мыслей, стремление к социальным улучшениям и невозможность что-либо сделать в данную минуту. Эти столкновения не производят пока ничего, кроме шума и пыли. Помяните мое слово, настанет день, когда вы больше не будете верить ни в какую религиозную секту, ни в какую политическую партию, ни в какую социальную систему. Вы поймете, что для людей возможно только совершенствоваться, хотя им и мешают тысячи препятствий».

Тот человек, которого Жорж Санд называла «настоящим Робеспьером», силой своего личного обаяния и красноречия разрушил благоразумно воздвигнутую стену, за которую она пыталась спрятаться от настойчивой необходимости решительный высказываний. Этот Робеспьер был адвокат Мишель из Буржа.

Весну 1835 года, через несколько месяцев после разрыва с Мюссэ, Жорж Санд проводила одна в Париже. Друзья ее — Франц Лист и графиня д'Агу, наиболее близкие ей в период самоотречения и религиозности — уехали в Швейцарию; дружба с Сент-Бевом медленно охладевала и потеряла свою прелесть новизны. Между тем Париж был более чем когда-нибудь охвачен политическими страстями.

В палате пэров начался знаменитый процесс апрельских обвиняемых, получивший справедливое название «чудовищного процесса». Вожаки рабочих волнений в Лионе, Марселе и Париже предстали в особой

комиссии палаты пэров, превращенной в верховное судилище, вопреки конституции, отменяющей создание всяких особых судов.

Дело о восстании в Лионе, Париже, Марселе и других городах было слито в один судебный процесс, причем, отмечая экономическую основу движения, обвинение подчеркивало лишь его политическое значение. Республиканская партия подняла брошенную ей перчатку, предполагая залу судебных заседаний превратить в арену политической борьбы. Палата пэров, лицемерно прикрываясь софизмами, приняла на себя обязанности верховного судилища, цинично отмечая незаконность подобного акта. Обвиняемые выбрали себе защитников, но палата, испуганная этим массовым наступлением республиканской партии, наложила запрет на защиту, решив допустить на процесс только ею же назначенных адвокатов. «Чудовищный процесс» начался в обстановке раскалившихся страстей и бурного общественного негодования. Самоотвержение и смелость обвиняемых прославлялись; их портреты выставлялись в витринах, биографии их ходили по рукам; сочувствующие письма появлялись во всех радикальных листках, организовался сбор в пользу семей заключенных.

Французская адвокатура единодушно протестовала против нарушения прав подсудимых. За несколько недель до начала судебных заседаний на закрытом собрании адвокатов было оглашено и принято письмо, обращенное к заключенным Сент Пелажи и Консьержри. Его закрепили многочисленные подписи и оно появилось на другой день на страницах республиканских газет «Трибуна» и «Реформатор».

«Не ослабевайте, граждане, — говорилось в этом письме, — оставайтесь по-прежнему спокойными, гордыми, энергичными; вы являетесь защитниками общественных прав. Чего хотите вы, того хочет Франция. Никогда мы не признаем судьями тех, кто не допускает защиты. Низость судьи составит славу обвиняемого».

Смелое письмо испугало правительство; редактор «Реформатора» был присужден к месячному тюремному заключению и штрафу, и в палате пэров возникло новое дело. Производилось срочное расследование, правительство отыскивало тех, кого можно было сделать ответственными за письмо. Посадить на скамью подсудимых всех подписавшихся значило бы учинить новый процесс, размеры которого могли стать угрожающими. Секретные заседания следовали одно за другим.

Республиканская партия отсутствием единодушия и трусостью сама выручила правительство из затруднительного положения. Большинство адвокатов отказалось от своих подписей, а вдохновители его в письме к президенту палаты сами раскрыли свое инкогнито. Распространителем

письма был адвокат Трела, автором — Мишель из Буржа.

Мишель был небольшого роста, слабый физически человек. Он обладал красноречием и тонко обработанными актерскими способностями. Его ораторские эффекты всегда били в цель. Беспредельно честолюбивый, он отдался весь политической борьбе, видя в ней единственный источник славы, вне которой не хотел и не мог ничего любить. Красноречие и честолюбие маскировали его себялюбивую, расчетливую натуру. Его последующая жизнь, его уход из революционной борьбы показали впоследствии этого народного трибуна в роли обогащающегося адвоката и миролюбивого буржуа.

Жорж Санд никогда не отличалась слишком глубоким проникновением в характер окружающих ее людей. Она умела подгонять поступки и слова под тот чисто литературный образ, который рождался из первого впечатления. Образ Мишеля, страдающего защитника угнетенных, речь, произнесенная им в палате пэров, когда он предстал в качестве ответчика за письмо к обвиняемым, очаровали ее. Пугающая ее крайность республиканских убеждений имела вместе с тем что-то притягательное; около нее не было никого, кто бы мог противопоставить свое влияние влиянию Мишеля. Со своей стороны трибун был заинтересован необыкновенной женщиной. Сен-симонисты, друзья Жорж Санд, рисовали ее как женщину с огромной революционной потенцией. Жорж Санд жаждала прозелитизма, Мишель честолюбиво стремился к роли учителя и обращающего.

Огромная толпа собиралась ежедневно у Люксембургского дворца; штыки охраны блестели среди зелени Люксембургского сада; артиллерийские склады были перенесены в близлежащие улицы; родственники обвиняемых, не допущенные по распоряжению правительства в залу заседаний, составляли отдельную возмущенную группу. Газеты выхватывались из рук. Чтобы легче проникнуть в зал заседаний со своими сен-симонистскими друзьями Жорж Санд снова оделась в мужское платье. Дни она проводила на заседаниях. Передовая общественность шумно высказывала свое сочувствие обвиняемым. Апрельский процесс выплеснул, как знамя, имя Мишеля из Буржа.

В этой бурной обстановке весной 1835 года произошло революционное обращение Жорж Санд. Она не без страха принимала на себя эту новую роль женщины-республиканки и в первых письмах к Мишелю защищала, как могла, свои ускользающие из-под ног благоразумно-либеральные убеждения.

«Люди шума, — писала она, — не вступайте своими пыльными и

окровавленными ногами в чистые воды, которые журчат для нас; нам, безобидным мечтателям, принадлежат горные ручьи; нам говорят они о забвении и покое — условиях нашего счастья, над которым вы смеетесь.

Я не знаю, настанет ли день, когда человек решит окончательно и безусловно, что полезно для человека. Я не разбираюсь в подробностях учения, которое ты исповедуешь. Все научные тонкости, посредством которых достигается формулировка какой-нибудь идеи, совершенно мне чужды, а что касается мер, посредством которых можно заставить господствовать эти идеи, — все они по-моему подвержены сомнениям и возражениям: я приму все, что будет хорошо. Требуи моей жизни, о римлянин, но оставь мой бедный дух сильфам и нимфам поэзии».

В квартире Жорж Санд на набережной Малакэ все препятствовало дальнейшему процветанию сильфам и нимфам поэзии. Знакомство с Мишелем широко отворило двери «заклятым врагам добропорядочности и покоя». Для Жорж Санд возродилась та полустуденческая жизнь, которую она некогда вела во время своей связи с Жюлем Сандо. Но эта жизнь потеряла свою беззаботность и накладывала на писательницу неизмеримо более тяжелые общественные обязательства. Безответственная проповедница свободы чувств и возвышенной любви выталкивается на арену политической борьбы. Она еще некоторое время оказывала сопротивление новым влияниям. С каждым днем это сопротивление ослабевало. В отношениях с Мишелем не было места для материнских излиятий — он был слишком горд, чтобы принять покровительство; товарищеское равенство, по внешности установившееся между ними, было только фикцией. Мишель был уверен в своем превосходстве и втайне презирал ее как женщину. Связывать этих двух людей могло лишь подчинение слабейшего. Жорж Санд впервые в жизни оказалась слабейшей.

Увлечение политической борьбой со стороны женщины, не имеющей никакой склонности к роли трибуна, боящейся всяких резких выступлений и глубоко убежденной в силе мирной проповеди, было для Жорж Санд насилием над собственными вкусами и характером. Христианский социализм, в котором она находила душевный отдых, не имел ничего общего с шумными выступлениями республиканцев. Тем не менее Жорж Санд, подпавшая под влияние Мишеля, в течение двух лет всецело отдается политическим интересам.

С весны 35-го года она так тесно связывает свою жизнь с жизнью Мишеля, что все ее дни, все ее время ставится в зависимость от его жизни и его дней. В записной книжке она помечает внешние житейские перемены,

и всякий ее отъезд, возвращение связываются с именем Мишеля.

«Мишель здесь 24-го. Я его провожаю в Бурж. Я еду в Бурж. Мишель приезжает 8-го. Я его провожаю в Шатору».

О такой записной книжке никогда не мог бы мечтать Альфред де Мюссэ!

Лист и мадам д'Агу, живя в Швейцарии, звали к себе Жорж Санд. Они ничего не подозревали о происходящем. Их письма были зовом оставленного мирного счастья. Жорж Санд отвечала им дружескими письмами, в которых не проскальзывало даже намека на новую любовь. Она ею не гордилась и скрывала ее. Моральная подчиненность была ей внове и тяготила ее, как бремя. Она оправдывала ее своей преданностью республиканской идее, которой отдавалась со страстью.

Непрочность таких отношений была очевидна, однако потребовалось целых два года для того, чтобы несвойственная характеру Авроры роль покорной подруги пробудила в ней гордость и отпор. Еще раз измученная трагическими переживаниями, она отказывается от них во имя собственного покоя и самоуважения.

Любовь к Мишелю миновала, но его идеи сыграли большую роль во внутреннем росте Жорж Санд.

Политические интересы, временно захватившие Жорж Санд, не ввели ее в ряды активных партийных борцов, но заставили ее теснее соприкоснуться с реальной действительностью и с конкретными задачами текущего момента. Из сферы умозрений это сближение с политической партией перенесло ее в реальную сферу живых, человеческих интересов. В ее романтическое, сентиментальное отношение к социальным вопросам влилась новая струя активности, она научилась видеть то, о чем прежде только мечтала, она излечилась от болезни самоанализа и перенесла центр своих интересов на вопросы социальные. Мишель не дал ей личного счастья, но помог найти то, чего она так жадно искала: новую точку применения своих сил и своего творчества.

Глава седьмая

Ликвидация молодости

Молодость, с которой обычно так горестно прощаются, тяготила ее, и она в тридцать четыре года приветствовала старость, торопя ее приход. Старый друг Корамбе наконец мог всецело переселиться в ее книги, не тревожа ее больше своими вторжениями в жизнь. Растущие творческие способности требовали благоприятной атмосферы, а таковой могла быть для такой натуры, как Жорж Санд, только педантически-размеренная жизнь. Революционность в политике и социальная романтика еще не носили в себе никаких безусловных обязательств. Двойная жизнь писателя и человека могла развиваться параллельно, и в наступившем равновесии Жорж Санд справедливо надеясь найти счастье.

Этому моменту внутреннего успокоения предшествовали два года утомительной ликвидации прежней молодой и насыщенной переживаниями жизненной полосы. В 36-м году одновременно с многострадальной любовью к Мишелю перед Жорж Санд стал вопрос об окончательном упорядочении своих семейных и материальных отношений.

Отношения с Казимиром Дюдеван при более частых свиданиях обострились и в октябре 35-го года привели наконец к судебному процессу. Жорж Санд являлась жалобщицей. Она требовала законного развода на основании оскорблений, нанесенных ей мужем: Казимир Дюдеван в разгаре ссоры грозил ей ружьем. К счастью, при этой сцене присутствовали многочисленные свидетели. Аврора воспользовалась случаем, чтобы положить предел отношениям, ставшим для нее в жизни лишними и обременяющими. Растерянный Казимир защищался, как умел. Он схватился, как за якорь спасения, за факт измены, который считал несомненным и доказанным. Как человек ограниченный, он полагался на силу закона, не учитывая тех поправок, которые вносило в него признанное всеми выдающееся положение его жены.

В Ла Шатре началось слушанием дело, привлечшее к себе недоброжелательное любопытство провинциальной буржуазии. Жорж Санд появилась в зале суда в роли бичуемой жертвы. В белом платье, с полуопущенным вуалем, она вошла в зал под руку со своим защитником. Защитником этим был Мишель из Буржа. Лашатрское общество не могло не знать о характере их отношений. Любовник, доказывавший на суде

верность своей возлюбленной мужу, возбуждал любопытство, доходящее до одержимости. Зал был переполнен. Жорж Санд держала себя с гордостью и достоинством идейной жертвы. Жизнь Жорж Санд никто не оправдывал; о ней просто умолчали. Лашатрская буржуазия, ждавшая сенсации и скандала, была разочарована. Мишель в великолепных речах выставил Аврору, брошенную мужем на произвол судьбы, жертвой его кутежей и беспорядочной жизни. Ему не верили, но над его словами пролились слезы. Общественное мнение перешло на сторону Жорж Санд. Несмотря на многочисленные апелляции Казимира, после долгих проволочек процесс был выигран, и Жорж Санд возвращался Ноган и безраздельное воспитание детей. Процесс был тяжелым испытанием, но и большой победой. Приговор суда вычеркивал прошлое; возвращение Ногана ставило предел бродяжничеству.



Старый бабушкин дом и аллеи парка защищали от жизни лучше, чем слава знаменитой писательницы. Полноправная помещица еще реальнее ощущала свои обязанности матери и хозяйки, и тем тягостнее и

противоречивее делалась принесенная из прошлого связь ее с Мишелем. Когда наконец удалось скинуть и ее, окончательно умер бунтующий мальчишка Жорж и совершилась кристаллизация характера зрелого писателя.

Аврора Дюдеван счастливо нашла самое себя.

Покончив с увлечением политикой, она всецело перешла на служенье социалистическим идеалам, которые ничем не нарушали мирного течения ее жизни и поддерживали ее оптимизм. Сен-симонистская теория прогресса являлась тем бальзамом, который залечивал раны, наносимые ей зрелищем человеческих страданий и несовершенства. Ей казалось, что глаза ее открылись и она могла откровенно начать любить жизнь все оправдывающей любовью, к которой так склонны здоровые и материально обеспеченные люди. Ее социальное сочувствие, как бы ни было оно искренно и горячо, оставалось в сфере наблюдений и рассудка; оно не захватывало и не сжигало ее; она никогда и не хотела быть сожженной, и мученичество, которое навязывала ей жизнь, было для нее отталкивающим, как болезнь.

Ее освобожденное от пессимизма творчество радостно себя заявляет. Она пишет новую версию «Лелии», где трагический конец героини заменяется светлым примирением с жизнью и проповедью принципиальной благотворительности.

Из-под ее пера выходит лучшее ее произведение «Мопра», где повесть о трагической страсти кончается победой над этой страстью. Перестав сама любить, она захотела и на любовь взглянуть глазами все оправдывающего оптимиста и, несмотря на свою молодость, старчески благословляла страсть при том условии, что эта страсть благородна и в конечном своем результате ведет человека к благоразумному обновлению. Любовь к природе, столь много раз ею воспетая, и та меняет свою окраску. Жорж Санд не хочет больше скал, обрывов и висящих над безднами развалин, ее глаза с лаской отдыхают на плоском беррийском пейзаже. Ей хочется сказать всем людям: «Любите друг друга». Ее натуре противна ненависть. Она хочет верить в спокойное и веселое добро, служение которому обрекает к тихому проповедничеству без борьбы. Будущая республика представляется ей именно царством этого тихого добра.

Она пишет роман «Симон», в котором рисует разрешение классовых противоречий силой человеческого доверия и любви: республиканец, любящий аристократку, своим примером и убеждениями приводит возлюбленную к признанию равенства людей и к отказу от своих наследственных привилегий.

Будем добрыми! Таков лозунг доброй, нетребовательной помещицы. Она пишет графине д'Агу:

«Великие люди мне по горло надоели. Пусть их высекают из мрамора, отливают из бронзы и больше не говорят мне о них. Да сохранит нас бог от них. Оставайтесь доброй, даже глупой, если хотите!»

Наконец в счастливой гармонии творчество ее может слиться с ее вкусами и характером. Возраст, положение, заработанная слава дают ей право на эту роскошь. Друзей, которые бы поддержали ее новое отношение к жизни, она легко находит. Это прежде всего Франц Лист и графиня д'Агу, которые веселы и счастливы и охотно вместе с ней верят в добро; это Генрих Гейне, который любит смеяться и за смехом которого она не скоро начинает чувствовать озлобление и сарказм; это Мицкевич, пламенному патриотизму которого ей так легко сочувствовать на правах республиканки, но главным образом это философ Пьер Леру.

Когда-то она считала Сент-Бева своим духовным руководителем. Сент-Бев оказался пассивным созерцателем, хладнокровным советчиком и по существу ни во что не верящим человеком.

Пьер Леру родился в 1798 году в Париже, в бедной семье и прошел тяжелую школу жизни. Он пытался получить образование, перепробовал целый ряд профессий — от простого каменщика до типографского служащего, с самых ранних лет был обременен огромной семьей и преследуем материальными затруднениями. Леру принадлежал к тем натурам, которых неудачи не в силах сломить и озлобить. Он никогда не бунтовал и не шел напролом; когда обстоятельства обрушивались на него, он торопился сдаться и не боялся признавать себя побежденным. Оптимистическая философия, которую он проповедовал, служила ему прекрасной опорой. Бессмертие души, прогресс, совершенствование личности, превращающейся после смерти в новую человеческую единицу, — таковы были его основные тезисы.

«Душа человека бессмертна. Бессмертие человеческих душ неразрывно связано с развитием и нашего человеческого рода; мы, живущие, не только сыновья и потомство живших прежде нас людей, но в сущности мы сами суть эти поколения и только таким образом будем жить вечно и бессмертно. В течение своей земной жизни каждая отдельная личность должна непременно прогрессировать. Прогресс человечества бесконечен и непрерывен. Он является результатом усилий, трудов и побед всех его составных элементов, потому всякий человек обязан трудиться по мере сил и способностей, ибо таким образом он не только в течение своей жизни будет хорошим и полезным членом общества, но, кроме того,

возродившись в человечестве к новому существованию, он поднимется уже ступенью выше, чем в первое свое существование. Поэтому всякий человек, стремясь к совершенству, прогрессируя, исполняет свой долг и перед самим собой и перед всем человечеством».

Сент-Бев еще в 35-м году указал Жорж Санд на Леру. Она позвала Леру к себе, и он живо откликнулся на зов знаменитой писательницы. Жорж Санд сразу очаровалась им. Он облек в систему мысли, которые давно бродили у нее в голове. Проповедь его была проста и доступна; жизненные советы совершенно конкретны. В его учении революционность соединялась с религиозностью и мистицизмом и следовательно полноценно отвечала всем душевным требованиям Жорж Санд. Его доктрина требовала отречения от счастья и личного усовершенствования. Жорж Санд давно уже тяготилась страстями и была в течение всей жизни занята вопросами добродетели и самооправдания. В жизненном обиходе предписывалась благотворительность — Жорж Санд всегда стремилась быть утешительницей и сестрой милосердия. Мистицизм и религиозные надежды придавали доктрине тот оттенок поэтического благодушия, без которого она не могла принять ни одной философской теории.

«Я убеждена, — писала Жорж Санд, — что когда-нибудь Леру будут читать, как читают «Общественный договор». В период моего скептицизма, когда я, потеряв голову от горя и сомнений, писала «Лелию», я поклонялась доброте, простоте, учености и глубине Леру, но я не была убеждена. Я смотрела на него, как на человека, который введен в обман собственной добродетелью. Я пришла в этом отношении к совершенно обратному мнению, так как, если во мне есть хоть капля добродетели, я ею обязана ему».

Дружеский союз был заключен и дал Жорж Санд тот душевный мир, которого она тщетно искала до сих пор у своих возлюбленных или случайных друзей. Роль благодетельницы великого человека напрашивалась сама собой. Жорж Санд приняла ее радостно. Леру с простодушием неделового человека и философа принимал ее материальную помощь и заботы. Он дал ей большое счастье; он раскрыл ее собственную сущность. Жорж Санд не хотела видеть мелких недостатков своего друга. То, что он сумел ей дать, ей ничто не могло заменить. Леру был для нее воплощением покоя и самоуважения. Приняв его, она внутренне приняла душевную зрелость, отказ от исканий.

В 38-м году, в момент окончательно совершившегося перелома, Жорж Санд приняла в Ногане дорогого ей гостя. Этот гость — Онорэ Бальзак был одним из самых остро-наблюдательных ее современников. Они провели

вместе несколько дней. Этого было достаточно для того, чтобы Бальзак мог дать блестящую характеристику «своего друга».

«Я прибыл в Ноган, — писал он Ганской, — в субботу, на 4-й неделе поста и нашел своего друга Жорж Санд в халате, курящей послеобеденную сигару у камина, в громадной, пустой комнате. На ней были хорошенькие желтые туфли, украшенные бахромой, кокетливые чулки и красные панталоны. Это все с точки зрения нравственности. С физической же точки зрения она отрастила себе двойной подбородок, как каноник. У нее нет ни одного седого волоса, несмотря на ее ужасающие несчастья; ее смуглый цвет лица не изменился, ее прекрасные глаза так же блестящи; она имеет все такой же глупый вид, когда она думает, ибо, как я ей и сказал, понаблюдав ее, — вся ее физиономия заключается в глазах. Она около года уже живет в Ногане, очень печально и страшно много работая. В глубоком уединении она осуждает одинаково и брак, и любовь, потому что испытала в них разочарование. Мужчина, который был бы по ней, редок — вот и все. Он тем более будет редким, что она не любезна, а следовательно ее лишь с трудом можно полюбить. Она мальчишка, она художник, она выдающийся человек, она великодушна, преданна, целомудренна; у нее крупные мужские черты — ergo она не женщина. Рядом с нею, беседуя с ней в течение трех дней, я ничуть не испытывал приступов той поверхностной влюбленности, которую во Франции и в Польше принято проявлять относительно каждой женщины.

Она точно двадцативосьмилетний мужчина, так как она целомудренна, щепетильна и художница лишь по внешности. Словом, это мужчина, и тем более мужчина, что она хочет быть им, что она вышла из роли женщины и перестала быть женщиной. Женщина привлекает, а она отталкивает, а так как я вполне мужчина, то вероятно, что она и на всех, похожих на меня, производит такое же впечатление: она всегда будет несчастна».

Глава восьмая

Майорка

Жорж Санд всю жизнь утверждала, что любит одиночество и узкосемейный круг. Вероятно, она была искренна. Великосветские салоны быстро ее утомляли. Тем не менее ее живая любознательность в соединении с ее растущей славой поневоле заставляли ее расширять круг знакомств. Она всюду была если не желанным гостем, то во всяком случае оригинальной личностью, на которую можно было созывать публику, как на заморское блюдо. Она выработала в себе известные манеры, прямоту и резкость речи, мужественность и даже нелюбезность, которые создавали особый неповторимый стиль. Этот стиль вызывал у некоторых робость и благоговение, у других насмешку, но это был стиль, которым носительница его была довольна и который она навязывала с самоуверенностью знаменитости. Желание нравиться и боязнь осуждения можно было отбросить вместе со всеми прочими атрибутами молодости.

Представители литературы во Франции были приняты на равной ноге в салонах аристократии и крупной буржуазии. Писателей искали и ласкали наравне с знаменитыми певицами, как Малибран, и художниками, как Делакура. Многие носители аристократических фамилий выступали на поэтическом и театральном поприще. Рост буржуазии, падение аристократии создали смешанное высшее общество, которое можно было назвать парижским светом. Жорж Санд часто посещала его салоны.

Крайность ее политических убеждений никого не пугала. Либерализм был в моде. Вплоть до 48-го года высшее общество, не учитывая ни сил, ни роста задавленного пролетариата, относилось к борьбе партий или как к узко-парламентским вопросам, или как к беспредметному, ни к чему не обязывающему философствованию. Революция 48-го года оттолкнула от крайних политических убеждений огромное большинство тех, кто в конце 30-х и в начале 40-х годов провозглашал себя другом угнетенного народа. Среди этого большинства оказалась и последовательница Пьера Леру — Жорж Санд.

Салон графини д'Агу был одним из типичных салонов того времени. Связь с Листом исторгла графиню из охраняющих свое устаревшее достоинство салонов Сен-Жерменского предместья, и она вознаградила себя, раскрыв свои двери пестрой, интернациональной смеси людей,

составлявших не только парижскую, но и европейскую интеллигенцию. Жорж Санд вошла в этот круг на правах первого друга и передовой женщины своего времени.



Летом 36-го года совместное путешествие по Швейцарии еще более закрепило дружбу Жорж Санд и графини д'Агу. Миром, благодушным весельем и поэзией веяло от воспоминаний путешествия в Шамуни, музыкальных вечеров в Женеве, бесед с Листом. Графиня льстиво выражала Жорж Санд свою дружбу, Лист был искренно ей предан. К странностям Жорж Санд, к ее безапелляционности и резким манерам относились, как к очаровательному чудачеству. По швейцарским горам рядом с изысканно одетой графиней появлялся «великий Жорж» в красном жилете, в мужских сапогах и панталонах. Зимой совместная жизнь в Отель де Франс на улице Лафит еще тесней переплела эти три жизни. Жорж Санд была хорошим слушателем. Лист, как всякий художник, искал аудитории и одобрения. Весной 37-го года дружеская идиллия из Парижа была перенесена в Ноган, где Жорж Санд в атмосфере поэзии и музыки могла отдыхать от своей бурной молодости. Этот внутренний отдых не прошел бесследно и в ее творчестве. Моменты мистического экстаза, которые Лист охотно делил с ней, беспредметная мечтательность, которая охватывала их во время дней бродяжничества по Швейцарии и в летние вечера в Ногане, вдохновили Жорж Санд на несколько произведений, в которых она отходит от своего страстного проповедничества. «Орко», «Мозаичисты», «Ускок» — рассказы, в которых автор ищет только занимательности фабулы. Они мало характерны для творчества Жорж Санд и свидетельствуют только о ее

неопределившихся художественных задачах в 36–38 годах, когда, исчерпав до конца свои прежние темы о семье, любви и равноправии женщины, она еще не находила в себе достаточно четкого мироотношения, чтобы перейти на более глубокие социальные темы, характеризующие второй период ее деятельности.

В салоне, где царила графиня д'Агу, Жорж Санд завязала много знакомств и новых дружб.

Генрих Гейне, жадный ко всем встречам и впечатлениям, которые мог дать ему Париж, галантно разыграл страстную влюбленность: его острый и едкий ум быстро схватил смешные стороны возвышенной Лелии, но он осторожно скрывал от нее свои сарказмы. Он льстил ей, называя ее своей кузиной по родству с Аполлоном, и в течение многих лет Жорж Санд видела в его озлоблении и насмешках только шалость слишком острого ума и добродушную шутливость.

Там же она познакомилась с Ламеннэ и, увлеченная красноречием аббата, заинтересовалась его идеями об отделении церкви от государства и о народовластии под покровительством «святейшего престола». Аббат был слишком серьезен, сосредоточен и прямолинеен, чтобы искать светских знакомств. Тесной дружбы между ним и Жорж Санд не завязалось. Он принимал ее излияния, отвечал на них, но, привыкший к роли духовного проповедника, всегда оставлял между собой и ею то расстояние, которое приличествует пастырю.

Обиженные польские эмигранты, носители аристократических польских фамилий, нашли себе гостеприимный приют в эклектическом салоне графини. Жорж Санд горячо симпатизировала их оскорбленному национальному чувству. Она всей силой своего литературного влияния поддерживала Мицкевича, когда надо было поставить на сцену театра Porte St-Martin его пьесу «Барские конфедераты». Она вступила в тесные дружеские отношения с Альбертом Гжималой. Она, как добрая мать, хотела усыновить всех обиженных, какого бы рода ни была обида, от которой они страдали.

Среди этих обиженных в салоне графини она встретила и Шопена.

Двадцативосьмилетний Шопен был уже знаменит. Большой художник, оскорбленный патриот, замученный жизнью, много страдавший, физически слабый, деликатный и брезгливый, он производил с первого взгляда впечатление человека, нуждающегося в поддержке. У него были капризы и требовательность больного ребенка, гордость угнетенного человека. Первое его знакомство с Жорж Санд никак не ознаменовалось. Она приняла его, как одного из многочисленных друзей мадам д'Агу, с которым

она общалась с рядовым дружелюбием. Впечатление, которое она произвела на Шопена, было совершенно отрицательным.

— Какая антипатичная женщина, эта Санд, — сказал он, — можно усомниться в том, что это в самом деле женщина!

Шопен был сыном домашнего учителя, но, несмотря на свое скромное происхождение, давно приобрел вкусы, привычки и надменность польского пана. Шумливость и безалаберность богемных избранных натур он воспринимал, как отсутствие культуры, и брезгливо от них отстранялся. Он полагал свое достоинство в изящной одежде, вежливом и сдержанном дружелюбии, в своевременном молчании и в скупости слов. Он был консервативен, хорошо воспитан и изыскан.

При первом знакомстве демонстративная развязность манер, резкая оригинальность, крайности в убеждениях Жорж Санд должны были показаться ему не чем иным, как нарушением общественного приличия. Он скрыл свою антипатию под маской уважения и светской любезности, и Жорж Санд по свойственной ей недалекости не заметила ее.

Знакомство тянулось около двух лет.

Шопен никогда не имел поверенных. В переписке с его самыми близкими друзьями — доктором Матушинским, Гжималой, Фонтаной — чувствуется большая любовь, которая выражает себя скупой и сдержанно. Боясь резкости и грубости, он боится одновременно и откровенности, способной вызвать их. Он скрывает свою боль под маской добродушно-иронического отношения к самому себе; он горд и боится сочувствия, как оскорбления. Он не оставил ни дневников, ни писем, по которым можно было бы узнать историю его любви к Жорж Санд. В 36-м году он нашел ее антипатичной, через два года между ними возникает длительная связь.

Шум, обсуждения и сплетни, которые всегда с таким искусством умела поднимать Жорж Санд вокруг всех интимных и общественных событий своей жизни, были не только неприятными, но и мучительными для Шопена. Он любил ее и мало заботился об эффектности этой связи. Ценил и уважая ее творчество, он все-таки больше любил в ней Аврору Дюдеван, чем знаменитую Жорж Санд. Ему, как некогда Мюссэ, хотелось вынести свое чувство за пределы литературных салонов; ему хотелось любить для себя, а не для потомства и не для издателей корреспонденции великих людей.

Осенью 38-го года юг и солнце стали манить их прочь из Парижа. Морис, сын Жорж Санд, был малокровен, и доктора предписали ему перемену климата. Шопену с его начинающейся чахоткой север был вреден. Жорж Санд, матерински обеспокоенная здоровьем обоих, решила

провести зиму на острове Майорке. Шопен, все еще озабоченный внешним декорумом своих отношений и соблюдением приличий, выехал через несколько дней после Жорж Санд, чтобы соединиться с ней в Перпиньяне. Там должно было начаться совместное путешествие, медовый месяц их любви.

Но путешествие, совершаемое в обществе двух подраставших детей, не могло уже носить характера легкомысленно-страстного бродяжничества, как это было с Мюссэ. Они были похожи скорее на мирно путешествующее буржуазное семейство. Да и сама Жорж Санд не мечтала более об острых переживаниях. Ей казалось, что в любви Шопена она обрела тихую пристань, а связь их рисовалась ей, как многолетнее ненарушимое благополучие. Связь оказалась действительно многолетней, но желанное благополучие и на этот раз бежало от нее. Под женственным образом Шопена скрывались черты мучительства и трагедии, которых Жорж Санд в своем наивном благодушии не сумела усмотреть.

«Я отправилась в путь главным образом под давлением жажды отдыха, которую тогда особенно резко ощущала. Так как в созданной нами жизни нам ни на что не хватало времени, я вообразила себе, что смогу отыскать тихое, одинокое убежище, где мне не придется ни писать писем, ни читать газет, ни принимать гостей, где я смогу не скидывать халата, где день будет тянуться двенадцать часов, где я смогу избавиться от обязательств светской жизни, оторваться от умственного беспокойства, терзающего нас всех во Франции, и где я смогу два года посвятить изучению истории и заниматься со своими детьми».

Так в своей книге «Зима на юге Европы» Жорж Санд объясняет причину и цель своего путешествия. Халат, с которым ей не хотелось расставаться в этом приюте вожделенного покоя, был ей необходим и для физического отдыха, и для творчества. На Майорке отсутствовали тревоги новых мод и новых идей, отсутствовали вечно куда-то зовущие друзья, известия приходили редко и впечатления, получаемые от них, смягчались дальностью расстояния и давностью их отправления. Дети, жизнь и здоровье которых так болезненно тревожили ее нежное материнство, были здоровы и находились с ней. Если не считать житейских забот, связанных с бытовым устройством в мало культурной чужой стране, забот, которыми Жорж Санд никогда не тяготилась, на Майорке она нашла целиком соединение тех условий, которые были необходимы для переломного момента ее творчества. Она хладнокровно сознала необходимость итогов перед вступлением в новую творческую полосу. Ее литературная деятельность имела восьмилетнюю давность, собрание ее сочинений

составляло количественно целое литературное богатство, о качественных его достоинствах свидетельствовала ее прочная, установившаяся известность. И, однако, со своим тонким чутьем талантливое человека она ощущала невозможность сохранения прежних тем, дававших ей в течение стольких лет возможность с поразительной легкостью писать роман за романом и принесших ей славу первого борца за освобождение женщины. В вопросах социальных — покорная ученица своего века, одаренная исключительной способностью восприятия, чуждая всякой внутренней борьбы и бунтарства — она шла в ногу со своими современниками, ни на шаг не отставая от них и ни на шаг их не опережая. Ее бесстрастная рассудочность позволяла ей с хладнокровием опытной хозяйки выбирать идеи, убеждения и вероисповедания. Эти идеи и убеждения никогда не выхлестывались за те неощутимые пределы, где начинались трагизм, мученичество и протест. Ноганская помещица боролась с предрассудками своего класса, но борьба эта всегда оставалась в пределах советов и упреков, никогда не переходя в открытый разрыв со своим классом.

К началу 40-х годов стал затихать шумливый романтизм. Крайний индивидуализм стал анахронизмом, борьба с семейными предрассудками за права личности сменилась более едкой борьбой за все более трудно достижимые человеческие блага. Классовое расслоение обострялось, бедность росла вместе с растущим капиталом, жизнь делалась обнаженнее и грубее. Бальзак писал свою «Человеческую комедию», и рядом с его «Кузиной Бетой» «Лелия» казалась детским лепетом. Жорж Санд не без горечи прощалась с красивой экзальтацией романтиков, так льстящей ее природной сентиментальности. Современный человек из костей и плоти, жадный и упрямый делатель золота, хищный столичный волк, перегрызающий горло своему сопернику, лавочник, тяжело и упорно накапливающий гроши в своей полутемной, обособленной лавочке, юркий чиновник, ловко вплетающий свою карьеру во все трагические и страшные события устрашающей своей грандиозностью парижской жизни, были ей глубоко антипатичны. Она была благодушна и спокойна, борьба за существование казалась ей уродством и несправедливостью главным образом в силу того, что ей никогда не приходилось принимать в ней участия. Однако вопросы, выдвинутые эпохой, она воспринимала своим тонким писательским слухом и не могла не дать на них ответа. Примиренная с самой собою, утвердившаяся в своем материальном благополучии, она страстно хочет такого же исхода и для грандиозной социальной борьбы классов, которая разворачивается на ее глазах. Почти не пострадавшая от революции дворянка, дочь парижской гризетки, она не

может примкнуть к безнадежной борьбе умирающей аристократии; крупная финансовая и промышленная буржуазия ей, скромной, обеспеченной землевладелнице, не только враждебна, но и страшна, как некое чудовище, способное поглотить в дыму заводов и фабрик тишину и очарование ее ногайских полей. Свой идеал доброты, нетребовательности, мирной жизни в халате, идеал, который кажется ей найденным раз навсегда в пределах семьи и уравновешенного чувства к Шопену, она думает найти именно в тех бедных классах, в том меньшем брате, на которого ей указали сен-симонисты и Леру. Ей хочется обеспечить за этим меньшим братом верный кусок хлеба, здоровое жилище, семейные радости и уют. Она наивно думает, что ее мелкобуржуазный идеал, всю жизнь влекущий ее, является идеалом всего человечества. Великодушно она готова бороться за него. В самых нежных и трогательных красках рисуются ей добродетельные страдальцы сырых парижских мансард, склонные к семейственности, к верности, к вечной самопожертвованной любви. Свой мещанский идеал она вносит в революционную борьбу и, не ощущая их глубокого внутреннего противоречия, со всей искренностью отдается служению социальным идеям.

Жорж Санд простодушна в своих писаниях и чужда как в жизни, так и в творчестве кокетства и недоговоренности. Писательство — ее потребность, ее сущность. Мысль живет для нее, только когда она изложена на бумаге. Если мысль не находит себе выражения в романе, она излагает ее в письме или в дневнике. Страдая в браке, она пишет один за другим разрушающие брачные установления романы: «Мельхиор», «Тост», «Валентина», «Индиана». Разочарованная в любви, она обретает славу заявлением своего неизлечимого пессимизма в «Лелии»; страсть к Мюссэ она рассказывает нескромно и в письмах, и в дневниках, и в романах. Она не забывает ни венецианских впечатлений, ни мелких дорожных приключений, ни мыслей своих, ни сомнений, ни чувств. Она живет вооруженная пером и бумагой. Рассказывать себя для нее потребность. Ей чужды художественные заботы о стиле, о композиции и вообще о форме ее произведений. Все возможные писательские качества она заменяет одним — искренностью. Эта искренность не очень глубока, легка, и поэтому мысль зарождается и находит свое выражение с необыкновенной быстротой, и Жорж Санд, как идеальный механизм, минута за минутой отмечает колебания настроений, идей, чувств в себе самой и в своей эпохе.

На остров Майорку Жорж Санд привозит также мало творческих сомнений и колебаний, как мало их и в вопросах личной жизни. Ее полнокровное вдохновение не знает перебоев и кризисов. Приняв Пьера

Леру и его ученье, она пользуется свободными месяцами отдыха для записи своего обновленного мироотношения и пишет «Спиридиона». На первой его странице стояло посвящение:

«Г. Пьеру Леру.

Друг и брат по возрасту, отец и учитель по своим добродетелям и знаниям, примите посвящение одной из моих сказок не как труд, достойный быть вам посвященным, но как доказательство дружбы и почтения.

Жорж Санд».

«Спиридион» — повесть о монахе, искателе истины, нашедшем эту истину в смеси христианства, сен-симонизма и республиканства, туманная философия которой облечена в излюбленные автором приподнято-возвышенные и мистические образы. Жорж Санд считала этот роман своим философским манифестом. «Спиридион» был первым романом, в котором Жорж Санд, отказываясь от прежних исканий и сомнений, твердо ставит философские тезисы своего будущего творчества. Христианский социализм, опирающийся на теорию Леру о человеческом совершенствовании, — такова основа второго периода ее творчества. Этой философии она оставалась верной до конца и, вооруженная ею, выступила на арену социальной борьбы.

Зрелость и кристаллизация личности и писателя, начавшаяся два года назад, принесшая мучения и разочарования, достигнутая упорством, подкрепленная никогда не остывающим благодушным оптимизмом, окончательно завершилась.

Найденная истина, в соединении с известностью, давала право перейти на проповедничество, взять на себя почетную роль учителя жизни, ту роль, которая всегда казалась Жорж Санд с ее матерински-педагогическими наклонностями наиболее завидной и спокойной.

Молодой и болезненный Шопен очень скоро почувствовал на себе гнет этого зрелого и прямолинейного характера. На Майорке сначала в мало пригодном для жилья «Доме ветра», а затем в заброшенном картезианском монастыре Вальдемоза, где Жорж Санд, пренебрегая всеми житейскими неудобствами, тешила свою фантазию мрачной поэзией окружающего, Шопен чувствовал себя потерянным и угнетенным. Сильные впечатления, которые его здоровая подруга воспринимала глазами и которые не проникали глубже ее хорошо организованного писательского рассудка, где они экономно складывались для будущих произведений, ранили Шопена в самое сердце и потрясли его нервную систему. Человек и художник в нем были неразделимы, и творчество для него было всегда мучительно. Он

ничего не умел придумывать ни в своей личной жизни, ни в своих произведениях, все, им написанное, стоило ему крови, нервов и страдания. Жорж Санд, которой так легко давалось творчество, которая никогда не знала моментов кризиса, не могла понять капризов, неудовлетворенности, отчаяния и поисков его работы. Она не знала писательских сомнений, и в творчестве музыканта они ей были также непостижимы. Бури на Майорке, южные дожди, вой ветра на заброшенном кладбище, обнаженные неприветливые майоркские скалы, нравившиеся ей как романтическая декорация, пугали и угнетали незащищенного рассудочностью нервного Шопена. Жорж Санд могла быть мистиком и пессимистом в своих романах, но в живой действительности предчувствия и необъяснимые страхи были ей совершенно чужды. Она любила дождь и ветер, прогулки с приключениями простой любовью выросшей среди природы здоровой крестьянки. Пейзаж для нее всегда оставался пейзажем, и никакое интимное чувство между ней и природой, никакой сознательный или бессознательный пантеизм не согревал ее воображения. Она отдавала должное творчеству Шопена, но не понимала его сложного процесса. Жизнь на Майорке казалась ей идеалом семейного благополучия. Угнетенность Шопена она объясняла его болезнью и сердилась на его мнительность.

В своем упрямом стремлении к благополучию Жорж Санд не хотела замечать никаких угрожающих симптомов; даже болезнь Шопена, такую явно-разрушительную, она воспринимала как недомогание и, ухаживая за ним, мало тревожилась. Его потребность в комфорте и удобствах она считала признаком аристократической избалованности, его подлинные страдания принимала за преувеличения мнительности. Защищаться и оправдываться было не в характере Шопена. Взрывы дурных настроений оставались по-прежнему необъяснимыми. Другим в Париж посылались радостно-благодушные письма, где описывались прелести семейной жизни и нравственные достоинства Шопена. Он тоже не жаловался.

Горечь одиночества капля за каплей уже начинала проникать в это чрезмерно обособленное сердце. Морис, фанатически преданный матери, близкий ей по характеру и вкусам, без уважения и с фамильярным товариществом обращался с другом своей матери, не видя за его покорностью и болезнью ни его таланта, ни его гениальности. Одна маленькая Соланж, экстравагантная, неуравновешенная девочка, своим ребячеством, злыми капризами, сложностью разряжала атмосферу душного благополучия, в которой томился Шопен.

Хлопотливо и радостно Жорж Санд пользовалась своим

благополучием. Дети усиленно учились, ночи она с бухгалтерской аккуратностью отдавала работе, впечатления, нужные для будущих романов, приходили к ней сами собой. Шопен мрачно и страдальчески работал, но, не видя моральных причин, продиктовавших ему траурный марш и В-молл'ную сонату. Жорж Санд только деловито радовалась его творческим достижениям.

Только к весне 39-го года, после долгих месяцев тщательно скрываемых страданий, болезненная тоска Шопена стала очевидной. Неудобствами жизни и нездоровьем Жорж Санд объяснила его страстную тягу прочь из-под южного неба, от цветущих роз и пальм. Счастливое семейство, глубоко уверенное в подлинности своего счастья, решило покинуть Майорку и вернуться в Париж.

«Пребывание в Вальдемозе, — писала Жорж Санд, — сделалось пыткой для Шопена и мучением для меня. Милый, веселый, очаровательный Шопен был невозможен в замкнутом кругу своих близких. Нельзя было быть более благородным, деликатным, бескорыстным, более верным, прямым, более остроумно блестящим в минуты веселья, более глубоким и законченным в своем творчестве, но вместе с тем, увы, не было настроения духа более неровного, воображения более подозрительного и болезненно-фантастического, более чувствительной раздражительности. И во всем этом был виновен не он, а его болезнь. С него словно заживо содрали кожу, так была чувствительна его душа. Все под небом Испании, кроме меня и моих детей, стало ему антипатично и неприятно».

Эти близорукие объяснения усыпляли всякую тревогу. С Майорки Жорж Санд возвращалась в Париж с прежним бодрым и радостным настроением, с новым запасом сил и впечатлений, с непоколебимой уверенностью в своем семейном благополучии.

Глава девятая

На улице Пигаль

Улица Пигаль — одна из тихих улиц Парижа 40-х годов. Из-за высоких каменных стен свешиваются над прохожими ветви лип и вязов. Здесь мало городского шума, дома со спущенными жалюзи, палисадники с клумбами цветов напоминают деревню. Под номером 16 числится большой строгий каменный дом, позади которого заросший маленький садик тих, приветлив и уютен. Среди этого сада выстроен павильон, напоминающий загородную дачу. Сирень густо разрослась под его окнами. Случайные прохожие бросают на него мимолетный взгляд. Приезжие иностранцы и туристы считают долгом посетить улицу Пигаль, как новейшую европейскую достопримечательность. Наиболее смелые, под тем или иным предлогом, вооруженные рекомендательными письмами, пытаются проникнуть внутрь павильона и хотя бы на мгновение увидеть воочию его хозяйку. Такие даже краткие свидания служат материалом для фельетонов, писем, газетных статей и мемуаров. Улица Пигаль в 40-х годах имеет то же значение, какое имело XVIII веке Ферне — приют Вольтера.

Слава, так же как и работоспособность, никогда в течение всей жизни не изменила Жорж Санд. Ночи, проведенные за письменным столом, вознаграждались неизменно растущей известностью. К 40-м годам, по возвращении с Майорки, Жорж Санд как писатель становится в первом ряду европейских и парижских знаменитостей. Она провозвестница женского равноправия, республиканка и революционерка, пламенная проповедница религии прогресса и учитель жизни, имеющий своих последователей во всех странах Европы, имеющий своих подражателей почти во всех литературах. Она признана, прославлена, канонизирована. Она покончила с прежней робостью, с поисками руководителя, с неуверенностью в себе. Она еще говорит иногда о своей идейной зависимости от Пьера Леру, но эти слова продиктованы только кокетством великого человека. Великий Жорж отдает себе полный отчет в своем значении, и весь ее внешний облик, вся обстановка ее жизни приобретают характер скромного величия.

К дому № 16 на улице Пигаль поклонники, ученики и алчущие правды приближаются с благоговением и с любопытством. В светло-коричневой обитой бархатом гостиной, украшенной картинами Делакруа и вазами с

живыми цветами, женщины, несчастные в браке, молодые люди, потерявшие бога, писатели, не уверенные в своем призвании, с похолодевшими руками и бьющимися сердцами ждут появления учителя. Они благоговейно впитывают в себя впечатления визита.

Жорж Санд появляется тихая, рассеянная, благолепная. Она поражает своей молодостью; многие находят ее красивой; в ее одежде и прическе — сознательная нарочитая простота; у нее очень маленькие белые руки и она носит золотые браслеты; она много курит; она часто погружается в задумчивость, и тогда лицо ее принимает отсутствующее выражение, но улыбка, которая иногда появляется на ее лице, полна неземной доброты. Этой улыбкой она охотнее всего дарит тех, кто страдает; с любопытными она не всегда приветлива и бывает даже суха. Встреча с ней оставляет незабываемое воспоминание, все, начиная от заброшенного сада, говорящего о ее деревенских вкусах, и кончая ее маленькими сигаретками, кажется неповторяемым, глубоко своеобразным.

В том же саду на небольшом расстоянии стоит другой павильон. Тут живет великий музыкант Фредерик Шопен. Всем известна история их близости. Легенда, правда, рассказы очевидцев растут, как снежный ком.

Тридцатишестилетнюю Жорж Санд называют великой страдальницей, философом, ее сравнивают с луной, которая безучастно и кротко смотрит с высоты на мирские страсти. Иногда добродушной иронией по ее адресу прорывается слишком мало расположенный к благоговению Бальзак, охладевший друг Сент-Бев, злобно саркастический Гейне. Жорж Санд давно перестала бояться иронии, ее не страшат комические положения, от которых она защищена славой, друзьями, поклонением. Она не подозревает, что о ней можно злословить, она честный и прямой друг и таковыми считает всех, кто входит в ее дом. Она знает только одну вражду, вражду общественную и принципиальную, ту, которая ведется на страницах газет, с открытым забралом. В этой сфере у нее много врагов и недоброжелателей, но она не боится их: они не могут нарушить спокойного течения ее жизни, а мировая известность защищает ее от насилия и репрессий государства и полиции.

Ее дом по вечерам открыт для друзей; Шопен ввел к ней весь цвет парижской интернациональной аристократии: Водзинский, Гжимала, Ротшильды, барон Штокгаузен, графиня Шереметева и князя Чарторижские делают постоянными посетителями ее салона. На улице Пигаль можно видеть работы Делакура, слушать игру Шопена и пение знаменитой певицы Полины Гарсиа. Эти светские люди, которые некогда тяготили бы ее своими требованиями приличия и хорошего воспитания,

теперь не только не возражают против богемных распущенных манер и резкости Жорж Санд, но, напротив, находят в них особую прелесть. Она может покровительствовать самым высокопоставленным людям. Графиня д'Агу, давно потерявшая надежду на достойное соперничество с знаменитой подругой, оскорбленная ушла из ее жизни. Мадам Марлиани, преданный друг, умеет только благоговеть и преклоняться. Для Жорж Санд, всегда любившей роль покровительницы, открывается широкое поле деятельности. Она устраивает брак своей новой молодой приятельницы Полины Гарсиа с Луи Виардо, она усыновляет свою племянницу Огюстину Бро, она берет на себя заботу о материальном устройстве своего друга и учителя Пьера Леру.

В материальном и моральном отношении дом на улице Пигаль — полная чаша. Жизнь здесь разумна и полна: Жорж Санд находит время для уроков с Соланж, для вышиванья и для хозяйства, вечером она принимает гостей, ночью работает; голоса молодежи и их смех наполняют маленький садик, Шопен приходит играть к ней свои новые произведения.

Бури и страсти ушли из ее жизни. Она о них не жалеет. Ее рассудок ничем больше не омрачен. Путь проповедничества и служения идее расширен.

Общественная жизнь в Париже к этому времени отличается необыкновенной интенсивностью и пестротой. Жадной и свободной любознательности Жорж Санд открывается широчайшая деятельность. С ее необыкновенной способностью сочувствовать при полном неумении сострадать она успевает делить свое время между представителями самых различных слоев общества и самых различных умонастроений. Она никого не забывает и ничто всецело не поглощает ее. При свете оптимистических теорий Леру, еще смягченных индивидуальным благодушием, жизнь представляется Жорж Санд огромной школой, где шаловливые дети расшибают себе лбы и дерутся только за недостатком хорошего руководителя. Ей хочется перекричать тысячи спорящих голосов и внушить безумцам простые и ясные мысли, одно восприятие которых сделает человечество счастливым. Ошибки и преступления, совершаемые вокруг нее, вызывают в ней материнскую печаль, но никогда не рождают негодования. Перед ней никогда не становится во всей своей остроте вопрос о несовместимости мещанского благополучия с революцией, тихого счастья с борьбой. Социальная борьба в ее глазах не более, как роковая ошибка, и она хранит незыблемое убеждение, что некогда палач обнимется со своей жертвой и серна ляжет рядом со львом.

Мистик и патриот Мицкевич один из первых находит покровительство

на улице Пигаль. Жорж Санд благосклонно выслушивает его теории мессианизма, присутствует на его лекциях и пишет статьи о славянской литературе.

Дружественный ей Гейне знакомит ее с немецкой литературой и собирает материалы для ее романа «Графиня Рудольштадтская». Делакура открывает ее мало приспособленные к пластическим восприятиям глаза на значение, смысл и современное направление живописи. От природы не слишком музыкальная, она воспитывает свой вкус и слух в беседах о музыке и слушании Шопена, Дессауэра и Полины Виардо.

Но все эти светские и полусветские заботы не вытесняют главной, доминирующей заботы ее жизни: прежде всего, она писатель, а в воздухе носятся новые идеи, которые тянут ее прочь от индивидуального усовершенствования к альтруизму и широкому служению человечеству. Первую дань социалистическим теориям она отдает в своем романе «Орас». Она еще ничего или очень мало знает о том классе общества, где, согласно ее убеждениям, живет святая простота и христианская нетребовательность. Действие романа разворачивается в Париже во время рабочего восстания 32-го года. В бедной, но чистой мансарде находящиеся в идеальном сожителстве скромный студент и женщина-сен-симонистка являются покровителями восставших рабочих. Поль-Арсен, живописец-самоучка из народа, наделенный всеми добродетелями, противопоставляется Орасу, молодому человеку с буржуазными наклонностями и с одним никогда не прощаемым Жорж Санд пороком — расточительностью. Добрый автор не может в конце романа не вознаградить своих героев: участники восстания, благодаря счастливой случайности остаются ненайденными агентами правительства, и высшее счастье, хороший заработок, обеспеченность и счастливый брак вознаграждают мучеников революции за годы борьбы. Влияние Пьера Леру здесь несомненно, и развязка романа вполне соответствует безмятежной философии неунывающего мечтателя.

Однако оставаться в сфере умозрений и романтических фикций для женщины, желающей выступить на арену общественной деятельности, становилось невозможным. Пьер Леру, не защищенный стенами литературного и аристократического салона, вполне реально уходил в самую гущу жизни и звал за собой свою покровительницу и поклонницу.

К 40-м годам все больше и больше нагнеталась атмосфера, предсказывая в недалеком будущем революционный взрыв. Французская промышленность достигла небывалого расцвета. Крупная финансовая буржуазия, охваченная горячкой спекуляций, отдавалась со страстью

биржевой игре. Роскошь росла, все шире разворачивалась бездна, разделяющая рабочий класс от класса торжествующей буржуазии. Вся заботливость Луи-Филиппа о трудящихся классах исчерпывалась циркулярами о призрении бедных. Одна за другой появляются книги Луи Блана «Об организации труда», Леру «О человечестве, его законах и будущем» и сочинения Прудона. Ко второму десятилетию царствования Луи-Филиппа реакционная политика правительства приняла резкий и незамаскированный характер. Либеральное кокетство буржуазного короля уступило место вновь возродившейся самодержавной политике и возбудило в кругах правящего класса недовольство своим ставленником на престоле. Новая борьба между тронem и буржуазией завязывалась в стенах парламента. С другой стороны, тяжелый опыт июльских дней и десятилетняя диктатура финансовых королей, усиливая бедствия рабочей массы, одновременно ковала революционное сознание и воспитывала боевые способности пролетариата. Обострение производственных и социальных взаимоотношений классов становилось очевидным. Интеллигенция в социалистических теориях ищет лекарства против общественного зла, надеясь взять на себя роль примирителя борющихся классов. В среде пролетариата появляются первые ростки самостоятельной, освобожденной от буржуазных влияний мысли, первые попытки самостоятельного разрешения социальных вопросов.

На улице Пигаль, где по вечерам собираются у камина Ротшильды и Шварценберги, появляется скромно одетый в рабочую блузу столяр по профессии, будущий поэт и публицист Агриколь Пердигье.

Искренний, простой и увлекающийся Пердигье очень близко подходил к тому типу рабочего, которого вообразила и полюбила в своем воображении Жорж Санд. Жизнь его протекала сравнительно благополучно, и он никогда не знал той острой нужды, которая выковывает пламенную классовую ненависть и готовность к борьбе. Его счастливая семейная обстановка, влияние Пьера Леру, способности к черчению и рисованию выделили его из рабочей среды и поставили в привилегированное положение. Это положение, искажив его классовую сущность, придало ему те черты, которые особенно искала в «меньшом брате» Жорж Санд. Агриколь Пердигье был филантропом, оптимистом и мистиком. Последователь Пьера Леру он верил в прогресс и способом его достижения считал личное усовершенствование и христианскую благотворительность. Классовая солидарность мыслилась им, как некий мистический союз наподобие масонской ложи, где без борьбы и пролития крови, в силу одной только круговой поддержки рабочий класс сумеет

выйти победителем из рабской зависимости, Пердигье был основателем рабочих объединений наподобие средневековых цеховых союзов, в которые внес таинственные обряды, посвящения и статуты, внушенные ему сенсимонистами.

Основание странноприимных домов, «женщины-матери», возглавляющие каждую рабочую ячейку, республиканские прозвища, даваемые каждому члену такого объединения, не могли не поразить воображения Жорж Санд. Пердигье держал себя с ней просто, искренно, без позы! Ему предстояло совершить путешествие по Франции для распространения своей идеи — он пришел за помощью к великой печальнице о страданиях человечества. Наконец Жорж Санд не только в воображении, а в реальной действительности могла пожать руку представителю того класса, служению которого она мысленно посвятила себя еще со времен Мишеля. С искренним и благородным порывом, благословляемая своим духовным отцом Пьером Леру, она отдает себя всецело в распоряжение Пердигье и его предприятию.

В романах «Товарищ кругового путешествия по Франции» и «Черный город» она рисует типы идеальных рабочих, прекрасную идиллию трудовых товариществ, легендарный быт святых и добрых людей. Недовольство ее издателя Бюлоза, обвинения в неправдоподобности, ничто не может отвратить ее от этих новых тем, от стремления к сближению с классом бедняков, в котором она уверена найти воплощение своих идеалов.

С темами бытового характера, с вопросами женской эмансипации, справедливо создавшими славу Жорж Санд, покончено навсегда. Любовная фабула, без которой по условиям эпохи не мог строиться ни один роман, уже не является доминирующей в ее новых произведениях. Они обычно страдают небрежностью и даже некоторой тривиальностью. Акцент ставится на характеристику представителей рабочего мира, в которой классово далекая от этого мира Жорж Санд проявляет все свое сентиментальное, характерное для дворянки-народницы покровительственное отношение к «меньшому брату».

Двери дома на улице Пигаль широко открываются для представителей народа. Проповедничество Жорж Санд выходит из узких классовых рамок; любящей матери хочется заключить в свои объятия весь мир и все его страдания. Но как это всегда случается с дамами-патронессами и принципиальными филантропами, проникновение в гуцу чуждого класса не дается в руки, как клад. Прекраснодушные ногайской помещицы при всей его искренности — неблагоприятная почва для сближения, и рабочий, приближающийся к улице Пигаль, фатально превращается в оперного

пейзана, которого так легко облагодетельствовать великодушному дворянину. Любя народ, ослепленная своей ролью республиканки и социалистки, Жбрж Санд не замечает, что рабочие, которыми она хочет окружить себя, или перестали быть рабочими, или обращаются к ней той стороной своей личности, которая выделяет их из общей массы. Она дружит с пролетарскими поэтами и пишет о них восторженные статьи, но с ней они больше говорят о своем творчестве, чем о своих классовых нуждах. Она ценит в них мистицизм, христианство и филантропию. Мистицизм их — случайность, христианское сознание доживает свои последние дни, филантропия давно скомпрометирована в глазах передовых представителей пролетариата. Тем не менее Жорж Санд счастливо переживает медовый месяц своего сближения с народом.

В 41-м году Пьер Леру при ее материальной помощи вместе с Луи Виардо приступает к изданию журнала «Revue Independante» («Независимое обозрение»). Этот журнал является венцом всех мечтаний Леру и закрепляет перед лицом всей читающей Франции его единомыслие и дружбу с великой писательницей. «Независимому обозрению» Жорж Санд отдает все свои творческие силы. Свои романы, которые привлекают к журналу широкую публику, она считает только жалкой приманкой, которая способствует распространению журнала.

«Мы, три честные человека, — пишет она, — согласны во всем так, точно составляем одно единственное существо. Я не знаю, можно ли еще найти в литературе подобный феномен. Я верю, что мы сделаем нечто добросовестное и серьезное, что не останется бесплодным. Мои романы будут только вывеской для привлечения зевак. Я постараюсь писать их как можно лучше, чтобы привлечь как можно больше зевак, благодаря которым машина пойдет в ход; суть же дела заключается в том, чтобы без помех обращаться к сочувствующим душам: с божьим соизволением дело это будет выполнено».

Жорж Санд оказалась для «Независимого обозрения» неоценимым сотрудником; самозабвенно она жертвует большими гонорарами Бюлоза и дает в «Независимое обозрение» статьи «О народных поэтах», «Ораса», «О славянской литературе», «Прокоп Великий» и наконец свой чрезвычайно нашумевший, удвоивший ее славу роман «Консуэло».

«Консуэло», как в свое время «Лелия», является произведением, подводящим итог настроениям и мыслям, владевшим Жорж Санд в период 1840–1842 года; к этому времени она совершенно усвоила религиозные, метафизические и социальные взгляды Леру; под влиянием Шопена и Мицкевича в ее жизнь вошел новый элемент польских интересов и вообще

славянских идей, подходивших под теории Леру о переменной роли отдельных народов в движении прогрессирующего человечества; демократические тенденции убежденной республиканки уже не подлежали пересмотру; влияние ее друга Франца Листа и собственное восторженное преклонение перед деятелями искусства делали для нее особенно дорогой сен-симонистскую теорию о жреческой роли в истории человечества художников и артистов. Эти идеи и настроения, проникнутые целиком общим влиянием Леру, явились основами, на которых она воздвигала этот роман-эпопею, считавшийся в XIX веке ее шедевром.

Философию Леру Жорж Санд проповедует не только на страницах «Revue Indépendante» и в своих романах, — она всюду ищет учеников и апостолов. Она читает его произведения Морису и Шопену, пишет о них своему брату Ипполиту и другу Дюверне, рекомендует многочисленным обращающимся к ней за советами людям философию Леру, как лекарство от всех душевных страданий.

Если были истинно счастливые и полноценные годы в жизни Жорж Санд, это именно были годы, прожитые ею на улице Пигаль, когда, счастливая в семейной жизни, она, добрая дама-патронесса, мать страдающего человечества, обрела наконец покой святости и свет умиротворяющей философии.

В светло-коричневой бархатной гостиной, в поэтическом полутемном будуаре, о котором нежно вспоминает Полина Виардо, в атмосфере благотворительной деятельности, высокой художественной культуры и утешительного философствования медленно назревала внутренняя драма Шопена. Никто не подозревал о ней. Он стоически переносил свои страдания. Его изящно завитая голова, его изысканность, приветливость, остроумие, его трагическая музыка украшали светские вечера.

«Кланяйтесь другу Шопену. Обнимите Шопена!»

Так заканчивались многочисленные письма друзей.

Все знали, что на улице Пигаль царит безоблачное благополучие.

Глава десятая

Семейный разлад

Годы странствований закончились. Летняя резиденция — Ноган, зимние месяцы — Париж, — такова была вошедшая в жизнь годовая программа семейства Санд. Ноган давно утратил те черты, которые некогда придавал ему фермер Казимир Дюдеван. Ноган сделался резиденцией философа, куда стекались со всех сторон друзья и поклонники. Благоразумная и деятельная Жорж Санд, несмотря на перегруженность работой, успевала уделять время своим обязанностям хозяйки и помещицы. Ни увлечения философией Пьера Леру, ни общественная деятельность, ни литературная работа, ничто не могло заслонить от нее прямых обязанностей матери и главы семьи. Морис и Соланж были почти взрослыми. Бурно прожитая жизнь, проповедь свободной любви, пестрота знакомств и богемность манер, которые «великий Жорж» давно узаконил своей славой, не наложили никакого отпечатка на вполне регулярно-буржуазное воспитание, даваемое детям. Существовал еще барон Казимир Дюдеван, приезжающий изредка повидать сына и дочь, пишущий письма, присылающий приветы, существовал вопрос о нарядах и красоте Соланж, о хороших манерах Мориса и, главным образом, существовал вопрос о почтенности их матери. Брак Соланж становился вопросом недалекого будущего. Своих обеспеченных материально детей Жорж Санд старалась обеспечить и моральным семейным благополучием.

Близость к Шопену, которую давно приняли и узаконили все друзья, по отношению к детям становилась мучительной проблемой. Близкие друзья гостили по целым месяцам в Ногане. Жорж Санд надеялась, что на таком-де положении близкого друга ближайший ее друг Шопен может без ущерба для ее репутации оставаться всегда при ней. Среди забот общественных, литературных, среди философских бесед с друзьями, среди служения народу, мыслей о детях и о своем личном материальном благосостоянии уделялось небольшое место и Шопену. Этот уголок души она считала безраздельно ему принадлежащим и с дружеской честностью никого иного в него не допускала. Шопен — музыкант и друг. Шопен — большой ребенок, требующий ее забот, казался ей очаровательным; во всех остальных сферах ее жизни он был ей чужд и иногда даже враждебен.

Шопен не умел близко сходитьсь с людьми, пугливо и недоверчиво

избегал всякой многообязывающей экспансивности. У него не было родины, и его пламенный патриотизм за годы эмиграции вылился в болезненное чувство тоскующего изгнанника. Воспоминание о семье и детстве для него, лишенного крова, приняли характер вечной неотступной грезы о семейном очаге.

Близость с Жорж Санд могла, казалось, заменить ему одновременно и семью, и друзей, и даже родину. Он, как нерасчетливый и усталый игрок, поставил на эту карту все, что имел. Участок, который она ему выделила в своей жизни, показался его большому чувству тюрьмой.

Жорж Санд делилась с ним своими творческими замыслами, но он знал, что истинным ее вдохновителем является Пьер Леру.

Он имел с Жорж Санд общий круг знакомых, и в ее салон были допущены все, кого он считал своими друзьями или кто ему нравился по общности вкусов и воспитания. Но, помимо этого изысканного общества художественной аристократии, единственного, в котором брезгливый и антидемократический Шопен чувствовал себя равным, дом ее кишел толпой странных, пестрых, принадлежащих к самым разнообразным слоям общества людей, которые попросту казались ему «подозрительными личностями» и искренность которых он всегда держал под сомнением.

Он мог радоваться славе Жорж Санд, когда эта слава окружала автора поэтической «Консуэло», но к изданию журнала, к страстному увлечению публицистикой и политикой оставался холоден, а Жорж Санд никогда не считала нужным вводить в эту сферу свое «болезненное дитя».



Он сознавал, что вся ее интенсивная духовная жизнь плывет мимо него и приблизиться к ней он не мог. Жизнь эта была ему чужда и враждебна. Жорж Санд со своей стороны не могла проникнуться тем пламенным, сосредоточенным в своем искусстве, интересом, которым жил Шопен. По существу и музыка, и политика, и искусство, и социальные вопросы оставались для нее всегда равнозначущими, и она с хладнокровием переходила от одних вопросов к другим. Она с удовольствием слушала Шопена и признавала его превосходство в сфере музыкальной, но не позволяла подавить свою личность живущему рядом с ней гению и никогда не могла бы согласиться на скромную и поэтическую роль вдохновительницы, кажущуюся столь заманчивой влюбленным женщинам.

Оставалось одно последнее убежище, где Шопен мог рассчитывать на полное дружеское слияние. Этим убежищем была семья.

Шопен поехал с семейством Санд на Майорку на правах близкого друга, и эта роль детям, привыкшим к непрерывной смене лиц, не могла казаться странной. Сдержанный, воспитанный Шопен всегда держал себя в границах почтительного дружелюбия. Отношения Мориса и Шопена не принимали ни враждебного, ни дружеского характера; Шопен был приветлив, Морис вежлив и равнодушен. В Шопене не было ни одной из тех черт, которая могла бы пробудить восторженное удивление в подрастающем мальчике. Он никак не походил на героя. Морис привык видеть в Шопене существо подчиненное, и мысль, что это подчиненное существо может предъявлять права на его мать, была бы нестерпима для его эгоистического сыновнего чувства.

Жорж Санд, нечуткая к посторонним, отличалась необыкновенной чуткостью в вопросах благополучия своей семьи. С бессознательным расчетом она понимала, что потерять Мориса значило бы потерять опору в старости, подлинно близкого ей человека, слепо преданного ей ученика. Она дала понять Шопену, что покушения его стать в ее семье на правах равного с ней и с ее детьми заранее обречены на неудачу. У семейного очага, около которого ему хотелось согреться, все места были заняты; до него доходили только слабые отсветы, от которых становилось еще холоднее.

Припадки сплина и дурного настроения, проявлявшиеся на Майорке, никогда не кончались объяснениями и излияниями. Причина их оставалась для Жорж Санд неясной. Она объясняла обиды Шопена ревностью, которую принципиально презирала. Шопен действительно ревновал ее, но это была не столько ревность влюбленного, сколько ревность неоцененного и обиженного друга.

Ревнующий к прошлому, ортодоксальный в вопросах морали, Шопен никогда не мог внутренне оправдать ни прошлой жизни Жорж Санд, ни ее общеизвестной проповеди свободной любви. За годы скрытых страданий износилось его терпение, а гордость искала выхода. Шопен слишком долго оставался в состоянии покорности; в нем накопилось негодование и обид больше, чем он сам мог подозревать. Плотины прорвались только в одном месте, но хлынувшие потоки смыли ее всю и затопили счастье, которое он так бережно хранил.

С безрассудством отчаяния он сделал попытку заявить себя хозяином и господином в семье Жорж Санд. Он не мог не знать, что отпор будет решительным.

Летом 46-го года благополучная жизнь в Ногане сразу нарушилась. Шопен стал открыто выражать свое негодование. Начав с осуждения Мориса, он неудержимо покатился по наклонной плоскости. Недостаток любви к Соланж, потворство Морису, уклад жизни, брачные проекты для дочери, смена слуг — все ему казалось теперь фальшью и лицемерием. Педагогически Жорж Санд противопоставила ему непреклонную волю, спокойствие сильнейшего и высокомерное удивление. В доме разыгралась буря семейного скандала. В несколько дней декорум благополучия, старательно охраняемый, рухнул и обнажились подлинные отношения двух людей, из которых один продолжал любить, а другой только терпел по снисходительной принципиальной доброте это потерявшее все обаяние чувство.

Взрыв откровенности быстро утомил Шопена. Разрушив то небольшое, что еще оставалось от счастья, он был все-таки не в силах отказаться от привычной жизни, которая минутами напоминала ему прежнее. Его физическое умирание подавляло его гордость, холод одиночества пугал его больше, чем когда бы то ни было. Он остался в Ногане. Его не прогоняли, его терпели. Его острая боль после вспышки обратилась в сконцентрированную молчаливую горечь, которая только изредка завуалированно проскальзывала в письмах к далекой семье и оставшимся друзьям.

Он пишет родным:

«Садовник здесь новый. Старому Петру, которого видели Енджеевичи, отказали, несмотря на 40 лет службы (еще при жизни бабки), также и честной Франсуазе, матери Люс; двум старейшим слугам! Все лето здесь прошло в прогулках и экскурсиях по неизвестным местностям Черной Долины. Я в них не участвовал. Когда я утомлен, то невесел, а это всем действует на настроение и молодежи со мной не так весело. Через месяц

думаю уже быть в сквере и надеюсь еще застать Новаковского, о котором знаю только через де Розьер, что он оставил у меня карточку. Был бы рад увидеть его. Но, к несчастью, здесь этого не хотят. Он бы мне многое напомнил. С ним я хоть поговорил бы по-польски, потому что у меня здесь нет Яна (слуга Шопена) и со времени отъезда Лорки я не сказал ни слова по-своему.

Солнце сегодня чудное; все отправились на прогулку в экипаже. Я не захотел сопровождать их и пользуюсь этим временем, чтобы побыть с вами. Маленькая собачка Маркиза составляет мне компанию, она лежит на диване... Я хотел бы наполнить это письмо лучшими новостями, но ничего не знаю, кроме того, что люблю вас и еще, что люблю вас. Я играю мало, пишу мало.

Мне не худо, ведь погода хороша. Зима обещает быть недурной, а если побережься, то сойдет как и прошлая, а благодаря богу может быть и не хуже. Скольким людям приходится хуже, чем мне. Правда, что многим и лучше, но я о них не думаю».

Пока Шопен переживал в обществе собачки Маркиза боль своего разрушенного счастья, Жорж Санд по всегдашней своей привычке к экспансии торопилась записать только что пережитый жизненный этап. Она чувствовала себя внутренне свободной, а происшедшее между ней и Шопеном казалась ей уже достаточно отдаленным прошлым. Необходимая для творчества перспектива не нарушалась ни сердечной болью, ни мстительным чувством. Она начала писать «Лукрецию Флориани».

Принц Кароль — герой романа, который с необыкновенным великодушием наделяется эпитетами «ангела с прелестным лицом», «кроткой, чувствительной духовной натуры» является разрушителем счастья, губителем жизни самоотверженной Лукреции Флориани. Принц Кароль по внешности милый и любезный, по существу, не способен ни к любви, ни даже к горячей симпатии. Принц Кароль, всегда мечтающий об идеале, в действительной жизни не способен ни к терпимости, ни даже к простому состраданию. Принц Кароль бескорыстен и благороден, но до чрезвычайности капризен, неровен и требователен. Принц Кароль легко увлекается людьми, но с неменьшей легкостью лишает их своего расположения. Принц Кароль преданно любит Лукрецию, но его ревность разрушает всю прелесть чувства. Принц Кароль женственен и нежен, но не обладает ни одним мужским качеством: он легковверен, слаб, болезнен, не может ни в какие минуты жизни служить опорой, он требует для себя слишком многого, ничего не давая другим. Принц Кароль разрушает семейное счастье Лукреции и своим деспотизмом возбуждает ненависть в

ее детях. Принц Кароль довел бедную возлюбленную до могилы, и конец романа заставляет предполагать, что очаровательный, но мало симпатичный принц, несмотря на свою болезненность, на много лет пережил цветущую здоровьем, замученную им женщину.

Портрет имел беспощадное сходство мастерски сделанной карикатуры. Он был узан всеми друзьями и нанес новую рану, глубокую рану изнемогающему Шопену. Нельзя было изобрести более верного и более жестокого способа довести до сознания Шопена ненужность его любви.

В конце романа стояла фраза: «Она действительно больше не любила Кароля; он переполнил меру ее терпения».

После тяжелого опыта, принесенного ему первой попыткой к протесту, Шопен был уже не в силах идти на открытое объяснение; он молчал о главном, но начал мстить за свою боль мелкими уколами и замаскированными нападками на все, что было ему ненавистно в некогда столь милом окружении Ногана. Наблюдательность его обострялась, а в Ногане, между тем, происходило многое такое, что давало пищу для его осуждения. Жорж Санд, не объясняя причины своих страданий, всегда и впоследствии вспоминала зиму 46–47 года, как один из самых тяжелых периодов своей жизни. Было несколько друзей, которых она посвящала в драму своей семейной жизни, но вряд ли и с ними она высказывалась до конца.

Ее огорчали дети, она тревожилась о своей дочери, в доме не было мира, между Морисом и Соланж росла вражда, о причине которой она упоминала глухо и неясно. Одно было очевидно: в ноганском доме было нарушено мирное благополучие и главным образом буржуазное приличие, о котором так хлопотала его хозяйка. Имя нежно любимой племянницы Огюстины Бро злые языки с большей и большей настойчивостью двусмысленно связывали с именем Мориса. Соланж томилась какой-то странной болезненной тоской. Она дружит с Шопеном, что вовсе не нравится ни ее матери, ни ее брату. Мать ее торопливо приискивала ей жениха. Молодые люди, рекомендованные друзьями, появляются в семействе Санд в качестве женихов Соланж, но эти проекты каждый раз фатально расстраиваются. Жорж Санд нервна, расстроена, проявляет суетливое беспокойство, и Ноган, этот философский приют, этот современный Ферне, окутывается облаком каких-то неприглядных путанных отношений.

Жорж Санд, внутренне презирающей Шопена как мужчину, не нравится его романтически-нежное отношение к Соланж; Соланж слишком

нежна и откровенна с отставленным любовником матери. Огюстина и Морис осуждают эту дружбу, в которой им чудится что-то безнравственное; Соланж мстит за осуждение ядовитыми намеками, в которых не щадит ни чести матери, ни благородства брата.

В этой тяжелой атмосфере мещанской драмы Шопен задыхается. Унизительная роль отстраненного фаворита, тон Мориса, все более резко заявляющего себя хозяином, суетливое, мелкое беспокойство, проявляемое Жорж Санд — все это переполняет его горечью. Его природная сдержанность переходит в неприятную сухость; потеряв право на откровенность, он мстит уколами и намеками. Соланж подогревает в нем его нарастающий гнев; для Жорж Санд этот недружелюбный ревнивый свидетель ее семейного развала делается невыносимым грузом.

Разрыв становился неизбежным, но для него не было никаких реальных поводов.

Осенью 46-го года Шопен покинул Ноган. Этого бы не случилось, если бы Морис не поставил его отъезд условием своего пребывания у матери. Шопен знал, что выбор между ним и сыном сделан давно.

«Он опустил голову и сказал, что я его больше не люблю...» — пишет Жорж Санд.

Для многочисленных друзей, для парижского света отношения оставались прежними. Жорж Санд предпочла это медленное умирание шуму, который неизбежно вызвал бы резкий разрыв. Шопен, как обычно, возвращался в Париж к своим зимним занятиям, Жорж Санд оставалась в Ногане для устройства своих дел. Переписка продолжалась. Продолжалась и видимость прежних отношений. За эту видимость Шопен цеплялся, как за последний остаток надежды. Требовательный и непримиримый в Ногане, здесь, в парижском одиночестве, он радовался самым жалким подачкам. Его письма к Жорж Санд покорны и грустны; он отказался от мечты быть хозяином и господином, он хочет сохранить хотя бы самые скромные права друга, он хочет хоть издалека сохранить свое место у ногайского очага.

«Как хорошо, что ваша гостиная тепла, что ваш ноганский свет мягок и что молодежь веселится, как на масленице...»

Поблагодарите, пожалуйста, Маркиза за то, что он обнюхивает мою дверь. Будьте здоровы и счастливы. Напишите мне, когда вам что-нибудь понадобится...

Я убежден, что и портреты, висящие в гостиной, смотрят на вас подобающим образом. Веселитесь, как можно лучше. Здесь, как я вам писал прошлый раз, лишь болезни за болезнями. Я здоров, но не имею

храбрости отойти от камина ни на минуту».

Как некогда, расставшись с Мюссэ, так и теперь Жорж Санд сводит свою роль любящей матери к беспокойствам о здоровье Шопена. Она поручает его заботам общих друзей, пишет ему письма, обещает скорое свидание; в перспективе лето, которое, как и всегда, Шопен должен провести с семейством Санд в Ногане.

Между тем в глубокой тайне от своего друга она старается залечить раны, нанесенные ее семейному благополучию. В отсутствие Шопена все упрощается, и его проницательная насмешливость не мешает больше мещанским хлопотам об устройстве дочери. К весне 47-го года, сменившая нескольких женихов Соланж, становится наконец женой скульптора Клезенже.

Эта зима, эти хлопоты, этот торопливый брак, которому предшествовали смутные слухи о готовящемся похищении Соланж женихом, тайна, которой окружались все происходящие в Ногане события, и наконец открытый разрыв с дочерью тотчас после заключенного ею брака, Жорж Санд в своих письмах и дневниках не захотела никому рассказать. Болезненное чувство неясной вины перед Шопеном, неполной правоты перед дочерью мешали ей быть откровенной. В ее семье произошли скандалы, интриги, безобразные сцены ревности, денежные счеты. Она вовремя задернула занавес. Семейная трагедия принадлежала к тому разряду трагедий, который не увенчивает новыми лаврами героиню.

Не открывая подлинных причин происходящего, не описывая даже поводов, вызывающих драматические события, она в своих письмах стремится только к одному, к самооправданию.

«Что я вынесла от Соланж со времени ее свадьбы, — пишет она своему другу м-ль де Розьер, — невозможно передать. Сколько во всем этом у меня было терпения, внутреннего милосердия и скрытого страдания, вы одна можете оценить, потому что вы знаете, что я от нее переносу с тех пор, как она на свете. Эта холодная, неблагодарная и злобная девочка отлично разыгрывала комедию вплоть до дня своей свадьбы. Муж был заодно с нею. Но едва сделавшись обладателями независимости и денег, они сняли маску и вообразили, что они будут мной повелевать, разорять и мучить, сколько угодно. Мое сопротивление привело их в ярость, и поведение их сделалось неслыханным. У нас здесь чуть не перерезали друг другу горло».

Порвав с матерью, Соланж вернулась в Париж. Как мать искала опоры, поддержки и оправданий в сердцах преданных ей друзей, так и Соланж чувствовала необходимость в союзниках. Ей, молодой женщине без всякого

общественного положения, было нелегко их найти.

Шопен был оскорблен тайной, которой Жорж Санд окружила сватовство Клезенже, он был оскорблен откровенным опасением его вмешательства в семейные отношения, он был оскорблен приговором на медленное умирание, который Жорж Санд произнесла его любви. Он создавал, что возрождение любви невозможно, надежды его угасали.

Старинный друг Соланж учитывала его состояние. Они оба были изгнаны из Ногана, им обоим был предпочтен Морис, им вменялись в вину одни и те же преступления. Шопен знал по опыту, сколько холодной рассудочности скрывалось за неизменной формальной правотой Жорж Санд. С упоением мести, безрассудно и решительно Шопен стал на сторону Соланж и раскрыл ей свои двери. Обиженные одним и тем же человеком, изгнанники почувствовали себя, больше чем когда бы то ни было, друзьями.

Условием для продолжения отношений Жорж Санд ставила своим друзьям прекращение отношений с четой Клезенже. Первым, нарушившим этот приказ, был Шопен. Повод к разрыву был найден. Правота, как всегда, оставалась на стороне Жорж Санд.

«Я нахожу великолепным, — пишет она м-ль де Розьер, — что Шопен видится, посещает и одобряет Клезенже. И это Шопен! Мой самый верный и преданный друг. Я более решительно ничего не хочу о нем слышать, а вас прошу сказать мне правду о его здоровье и ничего более. Остальное меня вовсе не интересует и мне не приходится сожалеть об его привязанности».

В 48-м году, когда Жорж Санд переживала новый яркий жизненный этап политических иллюзий и увлечений, она в последний раз встретилась с Шопеном на лестнице у м-м Марлиани. Предсказание многолетия принцу Каролю оказалось лживым. Принц Кароль угасал. Лукреция Флориани была полна жизни.

Жорж Санд писала:

«Я пожалала его дрожащую, ледяную руку... Я хотела поговорить с ним. Он поспешно удалился».

Глава одиннадцатая

Накануне 48-го года

Дружба с Леру поставила перед Жорж Санд во всей остроте социальный вопрос. Не надо было быть особенно глубоким социологом, чтобы ощутить все возрастающую глубину классовых противоречий. Эти классовые противоречия начинали тревожить в середине 40-х годов даже самых близоруких политиков. Поиски лекарства против общественного зла, понимаемого буржуазными либералами, как угроза новых беспорядков, социалистами — как ненормальность общей структуры общества, правительством — как растущая в парламентских кругах оппозиция, эти поиски для Жорж Санд и для ее друга Пьера Леру очень быстро увенчались успехом.

В теории прогресса и постепенного совершенствования человечества никакого или почти никакого места не уделялось вооруженной революционной борьбе. Жорж Санд не могла не признавать революцию злом. Воспитание человечества ей казалось более верным путем прогресса, чем восстание с оружием в руках. В «Консуэло» она с оговорками признала за угнетенными право на такие вспышки при условии, однако, чтобы эти вспышки были как можно менее кровопролитны и чтобы победители тотчас же великодушно прощали своих поверженных врагов. Но даже и эта революция на розовой воде казалась ей лишь отдаленным и мало вероятным исходом. Накануне 48-го года в накалившейся атмосфере ненависти, в окружении грозно растущих сил пролетариата ей грезились идиллия мирного благовествования социализма и благодушные пути эволюции.

Республиканцев Луи Блана и Ледрю-Роллена, вожака итальянской революции Мадзини, Леру и Пердигье — она всех воспринимала в аспекте «друзей в социализме», не делая между ними особенно ярких различий. Социальный переворот ей казался вопросом далекого будущего, а средствами борьбы она в своем наивном благодушии считала только проповедь, преувеличивая ее воспитательное и преуменьшая ее революционизирующее значение.

Всегда решительная в своих действиях и неутомимо деятельная, Жорж Санд не могла удовлетвориться одним только сотрудничеством в «Независимом обозрении». Журнал обслуживал парижских подписчиков, а

ее тяга к народным массам и обязанности помещицы убеждали ее в необходимости уделить большое внимание той части населения, с которой она непосредственно соприкасалась. В Ногане она проводила не меньшую часть года, чем в Париже. Как помещица она считала своим долгом опекать и просвещать своих крестьян. Выросшая в Берри, она была патриоткой своей провинции, а ее искренний, унаследованный быть может от матери, демократизм еще со времен супружества с Дюдеваном толкал ее на сближение с крестьянством. Вместе со своими земляками беррийцами Плане, Дютейлем и Жюлем Неро она задумала создание местной газеты. Цели у этой газеты были те же, что и у «Независимого обозрения» — проповедь христианского социализма. С 1844 года стал издаваться «Эндрский просветитель», в котором Жорж Санд принимала деятельное участие.

В 49-м году на страницах газеты появилась статья «Политика и социалисты», являющаяся изложением ее credo. Разделяя людей на две категории, политиков и социалистов, она первых упрекает в том, что они хотят действовать, не подводя под свою деятельность твердой религиозно-философской системы, а вторых в том, что будучи носителями социальных идеалов, они не предлагают никаких конкретных мер для проведения их в жизнь. Ей, Жорж Санд, программа, которой должны следовать социалисты, кажется ясной: спасения надо ждать от всеобщей подачи голосов в парламент и от учредительного собрания, которое явится выразителем желаний и нужд всей массы. Приготовляющим к этому перевороту фактором должна быть пресса, которая поможет народу разобраться во всех волнующих его и непонятных ему вопросах. Она призывает всех объединиться «под одним общим славным воинственным знаменем, именующимся демократией».

В 40-х годах такая программа казалась представителями буржуазии крайней степенью протеста, особенно в устах буржуазной писательницы, каковой все-таки не переставала быть Жорж Санд. Многие ее старые друзья отшатнулись от нее. Это ее не испугало. Она бодро вступала на ту дорогу, куда ее втягивали философия и житейские обстоятельства. «Эндрский просветитель» с не меньшей силой, чем дружба с Пердигье или музыкальные вечера с Листом, отнимали у нее энергию и силы, переизбыток которых был для нее мучителен.

В 43-м году близ Ла-Шатра разыгрывается драма с полубезумной пятнадцатилетней девочкой Фаншеттой, попавшей в приют к монахиням. Монахини, продержавшие у себя Фаншетту в течение нескольких месяцев, выгнали ее от себя и после долгих поисков девочка была найдена

арестованной за бродяжничество в другом департаменте. Она оказалась больной и беременной.

Защитница женских прав, давно порвавшая все связи с католической церковью, Жорж Санд подняла знамя общественного бунта против клерикалов. Письма, подписанные вымышленным именем Блэза Бонена, под которым легко открывалось подлинное авторство Жорж Санд, рассказали на страницах «Независимого обозрения» трагическую историю Фаншетты.

Этим много на шумевшим выступлением против католической церкви Жорж Санд вызвала новый взрыв негодования среди своих врагов. Вокруг ее творчества, с которым буржуазия временно примирилась в период ее исключительно художественной деятельности, в период создания романов как «Консуэло», «Графиня Рудольштадтская» и других, в которых не слишком ярко выступали революционные тенденции, вновь воскресли ненависть, клевета и страх.

Между Жорж Санд и тем буржуазным кругом, к которому она принадлежала по рождению, углубился давний конфликт. Церковь, государство, буржуазный быт, даже собственность — она все готова отрицать в своем великодушном увлечении.

Надвигающиеся события 48-го года поднимают Жорж Санд на гребень революционной волны.

Жорж Санд втягивается в революцию, которая все еще представляется ей бескровным мирным идеалом, нарисованным Пьером Леру.

Наконец в 44-м году Луи Блан, редактор одной из самых радикальных газет „La Reforme" («Реформа»), обратился к Жорж Санд со следующим письмом:

«Мне поручено гг. Араго, Кавеньяком, Ледрю-Ролленом, Флоконом, Этьеном Араго, Жоли и всеми теми, кто нам помогает в трудном и священном деле, выразить вам, как ваше сочувствие тронуло их. В особенности г-н Ледрю-Роллен благодарит вас, и все мы от глубины души призываем вас присоединиться к нам. Разве дело народа — не наше общее дело? Разве вы не должны отдать во имя нашей цели — победы равенства — вложенную в вас богом силу, мужество и красноречие? Но вы и сами знаете, что ваша слава принадлежит не вам, она принадлежит истине. Вот почему мы и взываем к вашему содействию. Враги наши могущественны, а могущество их заключается в их единении. Почему же и нам не объединиться? Любовь к человечеству, ненависть к угнетению, обязанность защищать слабых, невежественных, неимущих, благородное сознание, что все это уже претворилось в жизнь — неужели это менее крепкая спайка,

чем эгоизм? Почему не попробовать нам вступить в братское соглашение? Отчего не противопоставить грубой силе денег силу бескорыстного таланта? Вот что сказали мы себе, когда решились во имя народа и ради его освобождения воззвать ко всем, кто велик по своему уму и сердцу. Политика вас пугает, я знаю это, и это, к сожалению, понятно. До сих пор вы видели, что она ограничивалась постыдными и темными интригами, что она была чем-то вроде позорной и грубой рукопашной между бессердечными честолюбцами. И вы с отвращением отвернулись. Но неужели из-за того, что политику превратили в игру, она должна перестать быть подвигом и призванием. Неужели из-за того, что политику отвратили от ее цели, честные люди не должны постараться вернуть ее к ней. Неужели мы оставим в руках врагов нашего дела ту силу, которой наше дело должно и может воспользоваться, силу огромную, бесспорную, злоупотребление которой называется тиранией, а применение — освобождением пролетариата. Присоединившись к нам, не бойтесь оказаться в союзе исключительно политиканствующем. Политика для нас только сила, мужественно отданная на службу права. Политика для нас — это богатство, употребленное на выкуп бедняков, это могущество, употребленное на защиту слабых, это даровое образование для всех граждан, это разрушение той монополии, которая заключает в себе все монополии: монополию орудий производства; это, наконец, проведение в действительную жизнь девиза наших отцов: «свобода, равенство и братство!»

Пойдемте же с нами! Наша газета бедна, в ней нет литературы из-за невозможности оплачивать ее; значит, она имеет права не только на вашу симпатию, но и права на ваш талант, на вашу славу, все те досуги, которые оставляют вам ваши личные обязательства. Говоря вам это, мы доказываем, что ценим в вас нечто еще более редкое, еще более благородное, чем ваш гениальный талант.

Политика для нас только сила, мужественно отданная на службу права».

Из всего письма эта фраза прямее всего нашла дорогу к сердцу Жорж Санд. Правда, она на словах всегда оставалась республиканкой, но на деле она охладела к политической борьбе, усматривая в ней больше честолюбия, чем идейности. Ей казалось, что исповедание социализма не ведет за собой никакой конкретной борьбы, если не считать словесных заявлений и мирной пропаганды. Ей казалось, что косые взгляды буржуазных друзей и знакомых после выхода в свет первых номеров «Эндрского просветителя» и «Независимого обозрения» являются сами по себе достаточно

выразительными фактами для подтверждения ее личного гражданского мужества. Она, «пострадавшая за идею», не искала для себя мученичества, но ее глубокая честность не позволяла ей отказаться от претворения в дело проповедуемых ею теорий. Письмо Луи Блана убедило ее и примирило с политикой. Политическим деятелям, заявляющим, что политика для них является средством, а не целью, она могла протянуть руку. Сделаться сотрудницей радикального журнала не значило поднять знамя восстания против существующего строя, сочувствовать идеям Луи Блана не значило вступать в партию или тем более в заговор. Жорж Санд, вступив в ряды сотрудников «Реформы», шла вместе со своими друзьями к революции, не учитывая ни значения ее, ни ее приближения. Революция была для нее не меньшей неожиданностью, чем для либерала Гарнье-Пажеса, который, придя в парламент, чтобы приветствовать конституционную монархию, очутился лицом к лицу с провозглашенной уже республикой, к которой он радостно присоединился из чувства самосохранения.

Вплоть до первых дней февральской революции Жорж Санд — издательница «Эндрского просветителя» и сотрудница «Реформы», давно признанная испуганной буржуазией революционерка и разрушительница общественных основ — сама считала себя не более как спокойной провозвестницей мирного и далекого идеала. Она не боялась славы революционерки, потому что эта слава льстила ее самолюбию, но осуществление революции, подготовку к которой ей так охотно приписывали ее буржуазные бывшие друзья, было для нее неожиданно, как подарок, который она приняла с восторженным удивлением, прельщенная теми возможностями, которые открывались перед ней.

Дружба с Луи Бланом, Мадзини, Ледрю-Ролленом и Араго вынесла ее на вершины революционной борьбы без всяких с ее стороны стараний.

За несколько недель до знаменательных февральских дней она мирно жила у себя в Ногане, погруженная в свою публицистическую работу и в свои идеальные мечтания. Она так верила в величие и благородство человека, что никогда не могла предвидеть ни крови, ни предательства, которые в ней же первой вызвали бы испуг и отвращение. Редакция «Реформы» высоко ценила ее бескорыстное и мужественное сотрудничество; она привлекала подписчиков, она со своей всеобъемлющей широтой затрагивала все вопросы, начиная с литературной критики и кончая спортом. Работой она залечивала свою грусть и свои семейные печали; за дымкой идеальных социально-христианских теорий политический горизонт казался ей по-прежнему ясным.

Морис находился в Париже. Первые известия о начавшихся

беспорядках Жорж Санд истолковала как продолжение парламентской борьбы между Гизо и Тьером и отнеслась к ним с иронией. «Эти истории все равно не дадут рабочим хлеба» — писала она. Ее тревожила только судьба Мориса, находящегося в гуще парижских событий. Она звала его в Ноган, — он не отвечал на ее письма. Она не думала о своих обязанностях социалистки и республиканки, когда ехала к нему, испуганная его долгим молчанием.

По улицам Парижа с красными лентами в петлицах шли толпой рабочие. Из окна ратуши свешивалось до земли красное бархатное знамя. Марсельеза из улиц и переулков устрашающей волной вздымалась к стенам Люксембургского дворца. Республика была объявлена.

Глава двенадцатая

Сорок восьмой год

«Да здравствует Республика! Мечта! Восторг! И вместе с тем какая дисциплина, какой порядок в Париже! Я полетела туда, последние баррикады раскрывались передо мной. Я видела народ великий, святой, наивный, великодушный! Я видела французский народ, собравшийся в сердце Франции, в сердце вселенной; это самый великий народ мира. В течение многих ночей я не спала, я целыми днями не присаживалась. Здесь царит безумье, опьянение, счастье. Мы заснули в грязи и проснулись на небесах. Пусть все окружающее вас, преисполнится доверия и мужества!

Республика завоевана, утверждена; мы все погибнем, но не отступимся от нее. Правительство состоит по большей части из прекрасных людей, не вполне совершенных, разумеется, для дела, которое требует гения Наполеона или святости Христа. Но соединение этих людей, обладающих душой, талантом или волей, достаточно для теперешнего положения. Они жаждут добра, они ищут его, применяют. Искренно они преданы принципу, подавляющему их личность: воле большинства, правам народа. Народ Парижа добр, снисходителен, верит в свое дело и так могуч, что сам помогает своему правительству. Если такое положение продлится, то это общественный идеал. Его надо поддержать.

Все мои физические страдания, все мои личные огорчения забыты, Я живу, я сильна, деятельна, мне 20 лет.

Республика будет жить; ее час пробил. Раньше республики бывали всегда несовершенными. Они погибали потому, что не уничтожали рабства. В республике, которую мы провозглашаем, будут только свободные люди, равные в правах. Общественный порядок, который с помощью божьей по воле провидения мы только что разрушили, делал богатого таким же несчастным, как и бедняка. Эти два класса чувствовали себя враждебными, опасались друг друга. Бедняк боялся предательства и тирании богатого; богатый боялся гнева и мести бедного.

Такое противоестественное положение вещей должно скоро прекратиться; и оно прекратится, как только мудрые великие законы обеспечат за каждым французом право на существование и на труд».

Этих «мудрых великих законов», долженствующих обеспечить счастье французского народа, Жорж Санд ждала от своих друзей: Ледрю-Роллена,

Араго, Луи Блана. Приехав из Ногана, она, связанная с членами временного правительства своим сотрудничеством в «Реформе», тотчас же могла войти в самую гущу политической жизни. Ее восторженное многословие, легкость ее пера могли быть очень полезны для той лаборатории блестящих речей, которую представляло собою временное правительство. Гений Жорж Санд для крайней левой был таким же подспорьем, как красноречие Ламартина для умеренного центра.

После тихого Ногана молодой революционный Париж, охваченный праздничной лихорадкой, произвел потрясающее действие на ее доверчивое воображение. Преобразилось все: улицы, дома и лица. Синие блузы из предместий, переулков и мансард выплеснулись на площадь Согласия, к Бурбонскому дворцу, на аристократические бульвары. Синие блузы были украшены красными розетками, а на взволнованных лицах рабочих Жорж Санд читала только одно выражение: выражение безмерного счастья. Буржуазия тоже принимала участие в революции; с балконов особняков, из окон, украшенных портьерами, жены финансистов махали платками проходящим рабочим колоннам. Национальные гвардейцы в кабаках пили пиво, обнявшись с рабочими, провозглашая тосты за Луи Блана, Барбеса и Ламартина.

Во французском театре, ныне театре республики, перед рабочими-зрителями «Версальский экспромт» Мольера, приспособленный к новым обстоятельствам, вызывает бурю восторгов. Погруженный в вековой сон Мольер внезапно просыпается. Его разбудила тревожная мысль о том, что в зрительном зале «король ждет». Он торопится на сцену он подходит к рампе. Удивленный, он не видит перед собой ни блестящих придворных, ни раззолоченной королевской ложи. Синие блузы, красные розетки заменили мишурное великолепие. Мольер не теряет. «Да, я вижу короля, — восклицает он, — он больше не носит имени Людовика XIV, его зовут народом, народом-победителем. Этот монарх велик, он выше всех королей, велик своей добротой, своей правдивостью; этому монарху не нужны придворные, ему нужны только братья».



Зал сверху донизу трещит от топання ног и аплодисментов: на сцене появляется знаменитая трагическая актриса Рашель и надтреснутым голосом запевае марсельезу. Ее резкое мужское лицо дышит дикой страстью; ни королевских жестов, ни античных поз. Она подражает в своих движениях повадкам обитательниц предместий, провожавших мужей на баррикады. Зал подхватывает, марсельеза бушует, как пожар. В этой марсельезе угроза и сила, которые в первые дни после февраля Жорж Санд принимает за выражение полного счастья.

Да, счастье полное. Так по крайней мере думает Жорж Санд, и на первых порах ничто не разрушает иллюзий. Будущее представляется ей безоблачным. В февральские дни пролилось так мало крови, что она о ней забывает. Франция приобрела республику, открылась дорога к социальному совершенствованию, которого жаждет все человечество. Она в этом не сомневается. Если где-нибудь и скрываются враги, то это такая жалкая горсть эгоистов, о которых не стоит и говорить. Управление страной находится в руках людей, верующих в дело и глубоко бескорыстных. При полной готовности на жертвы со стороны имущих классов, при мудром терпении и великодушии народа, под руководством самоотверженного правительства Франция медленно, но верно пойдет по пути социальной реформы.

Эта социальная реформа в представлении Жорж Санд туманна. Она говорит об имущественном равенстве, но успокаивает трусливые сердца тем, что республика никогда не покусится на частную собственность. Обогащение государства и уничтожение частного капитала под руководством мудрых правителей произойдет с такой мягкой медлительностью, что не отразится на чем-либо личном благосостоянии.

Неужели могут найтись изверги, которые не откажутся от отягощающей их роскоши во имя блага большинства? На основе евангельской любви и христианского сознания, которые проникают все живущее на земле, человечество легко обретет новые формы социальных отношений. Пускай эти новые формы носят название коммунизма, устрашающее людей близоруких, Жорж Санд не боится слов и называет себя коммунисткой.

Политические друзья Жорж Санд приняли ее с распростертыми объятиями. С первых же дней революции и Луи Блан, и Араго, и Ледрю-Роллен ощущали рост противоречий и вражды, которые окружали их во временном правительстве со стороны крайней правой и умеренного центра, а вне стен Люксембургского дворца со стороны крайне левых. Но оптимизм в эти дни был не только в моде, он являлся обязательным. Усыпить бдительность народа громкими фразами входило в расчет организаторов реакции, которые на первых порах замаскировывались. Луи Блан и Пьер Леру, к которым Жорж Санд примыкала своими политическими взглядами, так же, как она, верили еще в успех своих социально-реформаторских планов. Истинное революционное ядро парижского пролетариата еще не было организовано и не отдавало себе еще ясного отчета в том, кто является его друзьями и врагами. Эту политическую неразбериху Жорж Санд оптимистически принимала за единодушие; она чувствовала себя уютно среди доброго французского народа, с которым ей наконец можно было говорить на страницах газет о самых задушевных своих мечтах.

Тотчас по приезде в Париж она обращается к среднему классу с письмом. Она выражает в нем восторг перед величием народа и высказывает убеждение в том, что буржуазия и пролетариат не могут быть враждебными. Народ справедлив, добр и мудр, он не знает мстительных чувств, буржуазия должна раскрыть ему свои объятия и с полным доверием присоединиться к нему. В нескольких письмах, обращенных к народу, она развивает ту же утешительную мысль. «Братство уничтожит ложные различия и самое слово «класс» будет вычеркнуто из книги судеб обновленного человечества».

Веря в добродетель, она только утверждает в убеждении, которое всегда ее утешало: зло на земле является результатом недоразумения, цели у всего человечества общие; любовь и самоотвержение свойственны каждому. Спор о средствах достижения идеала кажется ей разрешенным с того момента, как объявлена республика.

«Новая жизнь начинается, — говорит она народу. — Мы узнаем друг друга, мы полюбили друг друга, мы будем вместе искать социальной правды»-

Энергичная, работоспособная, выразительница официально исповедуемых временным правительством взглядов, Жорж Санд в первые революционные дни занимает в Париже видное место на политической арене. Она чувствует себя действительно помолодевшей на двадцать лет. Слава руководителя, борца, революционера, слава философа всегда казалась ей во сто крат более завидной, чем слава писателя. Победа кажется ей такой полной, что она склонна к самому широкому великодушию. Перед ней заискивают больше, чем когда бы то ни было. Это торжество, давшееся с такой легкостью, не задевшее никак ее личного благополучия, не потребовавшее от нее почти никаких жертв, для нее является поистине даром судьбы. С детским простодушием она пользуется этим выпавшим на ее долю праздником. «Мадам Санд разыгрывала важную персону» — говорил впоследствии Ледрю-Роллен, когда политическая идиллия была окончательно разрушена.

В первые дни революции она могла во всей полноте осуществлять свое влияние. Страницы всех газет и журналов открылись для нее; она основала свой собственный орган под названием «Друг народа». Временное правительство выдало ей следующий пропуск за подписью Ледрю-Роллена:

«Гражданка Жорж Санд имеет право свободного передвижения и доступ ко всем членам временного правительства».

По ее рекомендации назначались комиссары республики в провинциальные округа. Сын ее Морис, не достигший еще двадцатипятилетнего возраста, сделался мэром Ногана.

Этот необычайный праздник, конечно, не мог длиться долго.

Через 10 дней после провозглашения республики Жорж Санд, облеченная полномочиями временного правительства, уехала в Ноган; начиналась подготовка к выборам в Национальное собрание и революционизирование провинции делалось очередной задачей. Жорж Санд не могла не знать, что вся крестьянская масса в целом не проявила того энтузиазма, который она видела воочию на улицах Парижа. Это ее не смущало. Сердце Франции билось ровными революционными ударами. «Меньшая братия» не могла не присоединиться к желаниям «великого парижского народа». Слово «республика» для Жорж Санд казалось магическим ключом, которым можно раскрыть двери всех сердец. В глазах ноганской помещицы «добрые беррийские мужички» были детьми, которым легко раскрыть глаза на прелести грядущей социальной реформы. Она знала их покорными, преданными, благодарными. Беррийские женщины в белых монастырских чепцах низко кланялись ей, принимая из

ее рук великодушную материальную помощь. Теперь она везла им великое слово «республика», гражданскую свободу и обещания необыкновенных грядущих благ. От них требовалось только одно: терпение. Объяснить народу необходимость нового налога, его обязанность войти в положение временного правительства, причину, вызвавшую временный кризис, казалось только вопросом красноречия.

Полная недавних воспоминаний о ликующем Париже, Жорж Санд хочет и своих ноганских детей побаловать революционным праздником. Трогательный и простой сельский праздник кажется ей не менее прекрасным, чем величественные парижские демонстрации. В ногайской церкви, украшенной мхом, листвой и ранними весенними цветами, воздвигается катафалк в память павших на баррикадах бойцов. Венки из бледных фиалок и трехцветные знамена с древками, обвитыми лавровыми ветками, украшают его. Со всех сторон по тропинкам и дорогам к церкви стекаются беррийцы, закутанные в голубые плащи верхом на маленьких лошадках. Эта быстро организованная национальная гвардия вооружена ружьями. Женщины, дети и старики держат знамена, которые склоняются при приближении защитников революции. Мэр округа Морис Санд приветствует народ возгласом: «Да здравствует республика!» Похоронную мессу в честь павших выслушивают в благоговейном молчании. Лица крестьян замкнуты, суровы, недоверчивы. Жорж Санд и Морис пытаются внести оживление. Выкатываются бочки с вином, гремит музыка. Крестьяне пляшут, пьют и веселятся, но к политическим речам относятся с равнодушием или подозрительностью. Вечером, когда за темнотой трудно различить лица, где-то близ ворот усадьбы раздаются отдельные крики.

— Долой коммунистов!

— Долой налог!

Пробыв около двух недель в Ногане, Жорж Санд возвращается в Париж. Легкая тень, которую набросила на ее оптимизм поездка в провинцию, рассеивается перед новыми восторгами, которые ждут ее в столице. В Ногане остался Морис; она верит в его способность революционизировать косное крестьянство, всеобщее счастье кажется ей таким близким и доступным, способы его достижения такими простыми, жертвы во имя его такими ничтожными, а добродетель человечества такой несомненной! Человечество не может обмануть ее так же, как обманули ее некогда отдельные личности, капризные, непонятные и сложные, не сумевшие оценить ее материнских уроков и ее материнских ласк.

В Париже «возлюбленный народ» начинал проявлять уже кое-какие признаки дурного характера. В сердце Франции было нарушено великое

утешительное единство. В многочисленных клубах шумели в разноречивой манере. В предместьях, в самых темных и мрачных мансардах звучало имя страшного человека — Бланки. В буржуазных особняках шептались. Национальная гвардия хлопотала о своих привилегиях. Частный капитал катастрофически исчезал из государственного банка, предприятия закрывались, толпы безработных ходили по Парижу и наводняли национальные мастерские; оскорбительные по своей ненужности земляные работы, предпринятые временным правительством в целях смягчения безработицы и отвлечения пролетариата от борьбы, не могли занять свободных рук, рабочая плата понижалась. Люксембургская комиссия труда под председательством Луи Блана чернила горы бумаги. Слово «республика» и светлые мечты не насыщали голодных.

Временное правительство продолжало свою игру в великолепное благополучие. Жорж Санд стояла слишком близко к нему, чтобы несмотря на все свое ослепление, не заметить внутреннего раскола, но она не хотела расстаться со своим оптимизмом. Правда для нее несомненно была на стороне умеренных демократов, составлявших крайнюю левую правительства. Она еще не могла и не хотела сомневаться в окончательной победе идей Луи Блана и Пьера Леру. Она бодро соглашалась на некоторую борьбу.

«Я теперь занята как государственный человек, — пишет она Морису. — Я писала сегодня правительственные циркуляры, один для министра просвещения, другой для министра внутренних дел. Что меня больше всего веселит, так это то, что они обращены к мэрам и что ты получишь официальным путем распоряжения, написанные твоей матерью.

Так-то, господин мэр, мы должны идти прямым путем, и для начала предлагаю вам каждое воскресенье прочитывать перед вашей национальной гвардией бюллетени правительства. Это также относится и к циркулярам министра просвещения. Я положительно не знаю, как попеть. Меня зовут всюду. Я лучшего и не желаю. Сейчас печатают мои два «Письма к народу». Вместе с Виардо я буду писать обозрение и пролог для Лакруа. Ты, вероятно, получил уже первые бюллетени республики, седьмой будет написан мной. Ты увидишь в сегодняшнем номере «Реформы» мой отчет о ноганском празднике, где встретишь свое имя. Тут все обстоит настолько же хорошо, насколько плохо обстоит у нас. Я предупредила Ледрю-Роллена о том, что происходит в Лашатре. Он пошлет туда специального комиссара. Я познакомилась с Жаном Рейно и Барбесом, с г-ном Будэном, который показался мне довольно решительным республиканцем. Нам надо будет его поддерживать. Вероятно, с выборами

произойдет задержка. Не говори этого тем, которыми ты управляешь, и не пренебрегай их воспитанием. Проповедуй республику на все лады жителям Ногана».

В то время, как с такой бодростью, так самоуверенно и по-домашнему Жорж Санд отдавалась лстящей ее самолюбию деятельности, политические горизонты затемнялись. С одной стороны, правое крыло правительства, опираясь на крестьянство и буржуазию, поднимало голову, с другой — неизбежность революционного взрыва, которой угрожал парижский пролетариат, делалась все более грозной и реальной. Имя Бланки, это страшное для буржуазии имя, которого Жорж Санд, называвшая себя коммунисткой, боялась не меньше, чем жители Сен-Жерменского предместья, раздавалось все чаще и чаще.

Умеренные демократы, носители официальных идеалов, в первые революционные недели, оказались в роли теснимого с двух сторон миролюбивого, колеблющегося меньшинства. Прекраснодушная, соглашательская философия, классовая несостоятельность средней буржуазии ставила Жорж Санд и ее друзей в безнадежное и смешное положение актеров, играющих при пустом зрительном зале. Через их головы завязывалась борьба, подлинная сущность которой ничего не имела общего с их многословной деятельностью. Люксембургская комиссия работала на холостом ходу, правительственные бюллетени продолжали печататься, но хитрый и осторожный Ледрю-Роллен начинал уже тяготеть к своим правым товарищам.

Видимость ведущей партии еще оставалась за левой правительственной группой. Слабо развитое политическое сознание Жорж Санд и отсутствие революционного воспитания позволяли ей оставаться в заблуждении, но ее инстинктивное самолюбие тем более толкало ее к деятельности и к высказываниям, чем меньше фактически становилась ее политическая роль. Столь желанная республика ставит перед ней вопросы, которых она не может решить. Коммунистка, объявившая себя таковой на страницах газет и журналов, начинает понимать, что с этим названием связываются понятия и стремления, которые неприемлемы и враждебны ей. Она лихорадочно ищет позиции, на которой могла бы укрепиться, не отказываясь от прежних убеждений и не принимая тех поправок, которые внес в них исторический момент. Ее статьи этого периода полны противоречий и оговорок; она слишком честна, искренна и бескорыстна, чтобы идти по стопам Ледрю-Роллена. Она ищет средних путей, не подозревая, что таких путей не существует в период борьбы.

Предвыборный период в новый республиканский парламент с полной

очевидностью рисует грядущую несостоятельность Национального собрания. Оправившись после первого удара, крайние правые успешно проводят кампанию. Правительство вступило откровенно на путь реакции. Бланки — вождь пролетариата — открыто зовет к восстанию. Занять между ними крепкую позицию, не присоединяясь ни к тем, ни к другим — такова цель растерявшейся среди этих противоречий публицистки. Народ обманут, выборы пройдут под давлением реакционеров, и Национальное собрание, покорное воле своих хозяев, не поведет страну по пути социальных реформ, но тем не менее она не может отрицать прав большинства и не находит в себе смелости покуситься на свой кумир — народное представительство.

Объявить Национальное собрание недействительным, выбросить его из политической игры и через головы депутатов осуществить желания подлинного революционного пролетариата — такова программа крайней левой. Это путь крови и борьбы. Выхода иного нет: или покориться воле буржуазного большинства, или пойти на открытый разрыв с господствующим классом. Несмотря на остроту поставленной дилеммы, Жорж Санд пытается изобрести третье безопасное и мирное решение. Если его нет в действительной жизни, то быть может оно отыщется в идеальной сфере мечты. Окруженная ненавистью, страданиями, перед лицом неизбежной схватки Жорж Санд все еще черпает в своем бездонном оптимизме утешительные надежды.

«Восстания не будет, — пишет она в своей статье «Большинство и единство». — Народ не хочет его. Заговора не будет, народ раскроет его. Кровь не прольется — народ ненавидит кровопролитие. Угроз не будет — народ не хочет никому угрожать. Если Национальное собрание окажется реакционным, народ соберется на Марсовом поле и там в единении со всей Францией провозгласит свою конституцию. С улыбкой мы понесем эту конституцию вам, депутатам, и вы с готовностью подпишете ее, счастливые, уже тем, что избавляетесь от ужасов бессилия и одиночества; мы украсим вас лаврами и понесем в триумфальном шествии».

С 15 апреля, через два месяца после провозглашения республики, ни для кого из политических деятелей острота положения не оставалась тайной. Организованная национальная гвардия вышла на Гревскую площадь с криками «Долой коммунизм», «Долой Бланки». В ночь иллюминация озарила аристократические кварталы, и «медвежьи шапки» (Национальная гвардия) — защитники буржуазии — распевали в кабачках песни, чувствуя себя хозяевами положения. Открылись шлюзы, через которые стремительным потоком выливалась буржуазная реакция.

Национальная гвардия разгромила клуб Бланки, и послышались возгласы, требующие ареста Луи Блана. Ледрю-Роллен, испуганный и осторожный, давно перешедший в лагерь реакции, в тайной беседе с Ламартином отказался от своих прежних заблуждений. Под руководством Бланки втайне началось приготовление к сопротивлению революционных сил пролетариата.

В душевном смятении, беспомощно цепляясь за свои слишком явно несостоятельные мечты, Жорж Санд продолжала свою словесную политическую деятельность.

Двадцатого апреля, в день праздника братства, великолепная весенняя демонстрация возрождает ее надежды, но они тотчас угасают под давлением новых впечатлений. Она не отказывается от наименования коммунистки, но мечет громы против «секты», угрожающей залить страну кровью. Она призывает народ не смешивать республиканских социалистов с теми, кто требует немедленной социальной реформы. Минуты революционного восторга сменяются у нее минутами глубокого упадка. Она перестает верить своим политическим друзьям, она подозревает предательство Ледрю-Роллена, видит в Луи Блане только честолюбца и цепляется за личность депутата Барбеса, как за свой последний оплот.

Несостоятельность ее политической роли делается для нее очевидной. Она отдала народу свое сочувствие, свой талант, свои мечты. Она не может понять, чего же еще от нее могут потребовать. Жертвы, принесенные ею, кажутся огромными, совесть ее чиста. Неблагодарность людей преисполняет ее чувством болезненного отвращения. Еще несколько времени она мужественно, как честный человек, продолжает разыгрывать политическую комедию, внутренне сознавая обреченность и этого увлечения. Повода для разрыва с политикой у нее нет. Она не хочет быть дезертиром и хочет выйти из игры с чувством внутренней правоты.

Пятнадцатого мая, в день первого столкновения пролетариата с Национальной гвардией, повод наконец найден. Дурной характер ее последнего возлюбленного — французского народа переполняет наконец меру ее материнского терпения. Восставшие рабочие врываются в Национальное собрание и выносят на руках ее врага Бланки. Луи Блан покорно и безвольно колеблется, как маятник, по воле событий. Ледрю-Роллен срывает маску и присоединяется к крайним правым. В ратуше только что низвергнутое правительство арестовывает своих минутных заместителей. Нет больше ни красоты, ни благополучия, ни идеала.

В Ноган! В Ноган! Ее разбитое, оскорбленное сердце хранит память о чем-то прекрасном, что никогда ей еще не изменило. Сельская тишина и

идеальное созерцание. Она ищет привязанности, «менее острой, менее живой, менее восторженной, но зато более прочной».

Друг Корамбе, толкнувший ее на любовь к Мюссэ, сыграл с ней свою последнюю шутку. Но и на этот раз друг Корамбе не остался победителем. Родной ноганский очаг, тишина беррийских полей, память семейного прошлого охраняют Аврору Дюпэн, внучку Морица Саксонского, добрую фермершу, от опасных безумств бунтующего, века.

Гуляя в окрестностях Ногана со своим старым другом Роллина, она ведет тихую беседу. «Святая и мирная» дружба залечивает ее последнюю душевную рану.

«Поэзия — это нечто большее, чем сами поэты, — говорит ей Роллина, — она вне их личности. Революция перед ней бессильна. О заключенные! О умирающие! Пленники и побежденные всех стран, мученики прогресса. В звуке человеческого голоса, смешанного с дыханием ветра, всегда есть сладостная гармония, которая приносит душам божественное облегчение. Этого даже слишком много; достаточно пенья птиц, шуршания насекомых, шепота ветра, даже тишины, которая всегда прерывается таинственными звуками, полными несказанного красноречия. Если этот тихий говор коснется вашего слуха хотя бы на мгновение, ваша мысль уже освобождается от жестокого человеческого ярма и душа ваша может свободно парить во вселенной.

Как бы ни были мы разочарованы и печальны, никто не может отнять любви к природе и сладкого отдыха, которые мы находим в поэзии. Итак, если мы больше ничем не можем помочь несчастным, отдадимся вновь искусству и тихо прославим тихую поэзию. Пусть она прольется, как сок благотворного растения, на раны человечества».

Глава тринадцатая

Заступница

Уезжая из Парижа в Ноган в конце мая, Жорж Санд сожгла часть своей корреспонденции и свой дневник. Ходили неясные слухи о том, что ей грозит обыск и арест. Ей вменяли в преступление написанный ею правительственный бюллетень № 16, где в момент одного из очередных революционных порывов она звала народ защищать республику от покушений реакционеров. Буржуазия мстила некогда прославленной, писательнице за ее республиканские симпатии. На Жорж Санд клеветали, преувеличивая ее значение, или, как делал это Ледрю-Роллен, старались иронически свести ее политическую роль к комическому эпизоду.

В момент, когда реакция после первой вспышки 15 мая и позже после июньских дней вооруженного столкновения пролетариата с войсками буржуазного республиканского правительства на улицах Парижа поднялась во всей своей силе и ссылка и тюрьма грозили, казалось, в равной степени и Бланки, и Барбесу и даже Луи Блану, Жорж Санд пережила страх человека, находящегося под угрозой правительственных репрессий. Нашлись люди, которые утверждали, что видели ее в толпе, обращающейся с зажигательной речью к восставшим. Это была клевета, но момент был слишком серьезен, чтобы пренебрегать даже клеветой. Жорж Санд и ее сын горячо восстали и в частных письмах, и на страницах газет против этого обвинения.

Из ноганской глуши Жорж Санд в письме к префекту полиции устанавливает свое алиби.

Дни проходили за днями, арест, ссылка, изгнание выметали из Парижа всех причастных к революционным событиям. Венец мученичества украшал многие даже недостойные головы. О Жорж Санд никто не думал. Правительство умело проводить грань между действительными социалистами и ни для кого не опасными говорунами. Политическая роль оборвалась бесшумно и бесславно, и, когда прошли первые дни тревоги за свою судьбу и ощутилась полная безопасность, на первый план выступило именно это бесславие. Правда, по совету Роллина и в силу собственной могучей жизненности, Жорж Санд уже находила кругом себя утешения и новые интересы. Творчески она решительно переходила на новые темы, а в личной жизни любимый сын, ноганское хозяйство, уют очага давали

достаточную пищу ее открытому для всяких радостей сердцу. Но цинизм личного благополучия был совершенно чужд ее мужественной честности, а щепетильная совесть не могла примириться с безнаказанностью, которая выпала на долю ей одной среди гонимых друзей.

В 44 года, полная еще не истраченной энергии, она чувствовала унижительность своей ненужности здесь, во Франции, где 48-й год окружил ореолом мученичества даже людей, презираемых ею, и в ее венок не вплет ни одного лишнего лавра. Слава талантливой романистки казалась пресной по сравнению с тем триумфом учителя человечества, который грезился ей и от сладкого плода которого она вкусила в первые дни республики. К счастью, она легко мирилась с потерями и разочарованиями. Только с одним она мириться не могла: с чувством собственной неправоты.

Как всегда инстинктивно практичная, она, почувствовав себя утвердившейся в своем личном домашнем благополучии, со своей всегдашней неиссякаемой энергией принялась за укрепление идеологических позиций. Незавидное положение обойденной правительственной карой революционерки делало эту задачу затруднительной. Страх перед возможностью репрессий, пережитый ею в первые дни после бегства из Парижа, служит ей хотя бы отчасти заменой того показного страдальческого величия, которое выпало на долю Барбеса, Луи Блана и других. «Так как и сейчас еще, — пишет она, — в провинции продолжают поговаривать о необходимости жечь и вешать коммунистов, — я лично не снимаю с себя этого опасного звания».

Ноганская помещица, окруженная мало воинственными беррийскими крестьянами, ничем не рисковала, произнося эти слова. Реакция через несколько месяцев после июньских дней сковала мертвенным покоем и без того мало расположенное к революции крестьянство. «Коммунистическое» вероисповедание «доброй дамы» едва могло доходить до слуха облагодетельствованных ею беррийцев. Социал-реформаторские тенденции, которым Жорж Санд давала нечеткое для нее самой наименование коммунизма, ни к чему ее не обязывали, но спасали от упреков в ренегатстве. Внутренне покончив навсегда с политикой, Жорж Санд заботится теперь только о внешнем приличии этого разрыва. Если она была в силах проститься с борьбой, к которой втайне всегда чувствовала страх, смешанный с отвращением, — то от роли любящей матери, покровительницы, обиженных, от роли сестры милосердия она отказываться не хотела. Свой философский христианский идеал она вынесла незапятнанным из всех испытаний. Непокорному человечеству, не умеющему жить вне борьбы, крови и слез, она, неутомимый и

всепрощающий педагог, все-таки понесет свое радостное благовествование, свою веру в прогресс и туманные, но утешительные мечты.

Общественное положение Жорж Санд, ее издавна укрепившаяся слава писателя, открывали ей широкие возможности для конкретного выявления своего сострадания к жертвам революции.

Реакционное республиканское правительство, а затем правительство Второй империи благосклонно простило великой писательнице ее политические заблуждения. Наполеон III сам был не чужд в юности некоторой либеральной мечтательности. В годы своего заключения в Гамской тюрьме он обратился с письмами к «великому Жоржу» и, как всякий страдалец, нашел отклик в ее сочувствующем сердце. Эти стародавние отношения жили в его памяти. Он не мог обидеть женщину, тем более писательницу, кровно связанную, несмотря на свою охотно заявляемую революционность, с тем классом, который составлял опору его трона.

Жорж Санд почти два года прожила безвыездно в Ногане; этого срока было достаточно, чтобы придать ее отсутствию из Парижа сходство с изгнанием. Формы, необходимые для благородного ухода из политической сферы, были соблюдены, и переход к мирному служению чистому искусству произошел бесшумно и прилично. Не хватало только одного штриха, который бы придал ослепительное сияние прошлой неудачной деятельности. Обязательность сострадания к тем, кто проходил в качестве друзей или возлюбленных в ее жизни, оставалась во всей своей силе и по отношению к политическим друзьям. Жорж Санд изменила бы самой себе, если бы не прибавила и к этому этапу своей жизни заключительного аккорда.

«Париж. 15 января 1852 года.

Сударыня!

Г-н граф де Морни, министр внутренних дел, поручил мне сообщить Вам, что ничто не препятствует вашему возвращению в Париж для устройства ваших личных дел.

Я спешу довести до вашего сведения это решение и радуюсь случаю принести вам выражение своей глубокой преданности.

П. Карлье (бывший префект полиции)».

В такой галантной форме правительство Наполеона III давало понять писательнице-«коммунистке», что не видит никаких причин, препятствующих дружескому сближению. Эта предупредительность, которая звучала бы оскорблением для всякого искреннего революционера,

никак не задела самолюбия Жорж Санд. Высшие цели благотворительности заслоняли в ее глазах унижительность ее обращения к новому хозяину Франции.

Президент республики, будущий император Наполеон III, не мог не быть польщенным просьбой о свидании, с которой обратилась к нему Жорж Санд, считавшаяся в кругах, близких к президенту, идеологом социалистов. Он был осведомлен о просьбе, с которой она к нему обращалась. Жорж Санд, выступающая в роли защитницы некоторых лично знакомых ей изгнанников и заключенных, давала Наполеону III возможность играть в благородство и великодушие, ничем не рискуя. Он с радостью воспользовался этой возможностью.

«Сударыня, — писал он ей 22 января 1851 года, — я буду счастлив принять вас в любой из дней, назначенных вами на будущей неделе, в 3 часа дня. Примите, сударыня, выражение моих почтительнейших чувств.

Людовик Наполеон Бонапарт».

Первое свидание произвело на простодушную «коммунистку» самое благоприятное впечатление. Она обратилась к президенту с просьбой об освобождении и о смягчении участи некоторых своих друзей. Принц был растроган, он обещал ей свое покровительство, на глазах его блеснули слезы, когда он выслушивал ее рассказ о страданиях заключенных.

Он не обманул ее настойчивой веры в добрую сущность человека, напротив, он, может быть, лишний раз утвердил ее в убеждении, что сердечной просьбой можно достичь лучших результатов, чем вооруженной борьбой.

Она пишет Дюверне:

«Я действую, я хлопочу. Меня приняли как нельзя лучше, мне пожимали руки. Завтра я надеюсь закончить дело. «Gaulois»^[1] и другие отреклись от меня и запрещают называть их. Как они глупы, что опасаются какой-нибудь глупости с моей стороны. Все равно, пусть они говорят только за себя. Найдутся другие, которые не без удовольствия согласятся вернуться к своему очагу».

Жорж Санд не ошибалась: таких в среде изгнанников и приговоренных нашлось слишком много. Но были и другие, которых это непрошенное вмешательство в их судьбу оскорбляло, как навязанное им унижение. Гул негодования пронесся в среде французской политической эмиграции. Нельзя было оказать более несвоевременной услуги раздавленной и разбитой революционной армии. Откровенные протесты, замаскированные в дружелюбной форме осуждения, предостережения против торопливого увлечения слишком ясным для революционеров человеком, ничто не могло

остановить заступнической деятельности Жорж Санд, столь соответствующей всему складу ее характера.

При своих свиданиях с Наполеоном III она заботилась о соблюдении собственного достоинства; она не могла понять, что в глазах революционеров это достоинство было уже скомпрометировано одним фактом свидания.

Она являлась в президентский дворец, тщательно соблюдая свойственную ей резкость и развязность манер, прямоту в выражениях, смелость суждений. Прямо в глаза президенту она заявляла о своей симпатии к социалистам и выражала сомнения в его политическом счастье. Такая прямота со стороны буржуазной дамы, принадлежавшей и по происхождению, и по образу жизни к классу победителей, могла казаться президенту забавным чудачеством. Жорж Санд была слишком хорошо воспитана, чтобы позволить себе от этого чудачества перейти к грубости врага. В нужную минуту, по инстинктивной светской привычке, она смягчала свою речь деликатной лестью и радовалась тому, что президент, не сморгнув, проглатывал позолоченную пилюлю. Наполеон от этого сближения с Жорж Санд мог только выиграть. Она представляла собою общественное мнение некоторых кругов средней буржуазии и давала ему возможность купить это общественное мнение без особых затрат. Торжествующая реакция была достаточно сильна, чтобы позволить себе небольшую игру в великодушие. Осужденные, позволявшие Жорж Санд выступать в свою защиту, были в большинстве неопасными врагами. Президент соглашался на смягчение их участи. Когда просьбы заступницы переступали за пределы безопасного, он, не теряя дружелюбного тона, оплакивая необходимость быть строгим, — оказывал непреклонное сопротивление.

Ненаблюдательность Жорж Санд в соединении с легко воспламеняемым воображением и на этот раз ввели ее в обман. Общаться с людьми и не находить их прекрасными было ей всегда не по силам. Скептицизм тяготил ее. Возможно, что в ней возгорелась романтическая мечта сыграть по отношению к Наполеону ту же роль, которую она разыгрывала по отношению ко всем, попадающим в орбиту ее влияния. По существу форма правления государства и даже законы, устанавливающие социальное взаимоотношение граждан, были ей безразличны. Ее занимал вопрос добродетели и всеобщего блага. Из чьих рук изольется это благо на кровоточащие раны страдальцев, ей казалось несущественным. Отметая все исторические, экономические и социальные условия эпохи, она воображала, что стоит только в сердце монарха пробудить добрые чувства,

как тотчас же он сумеет сделать своих подданных счастливыми. Она не жалела ни времени, ни сил, ни красноречия, чтобы пробудить эти чувства. Она мягко упрекала Наполеона за несдержанные обещания, хвалила его за доброту, предостерегала от льстецов, в награду за добрые порывы предлагала ему свое благоприятное свидетельство перед потомством.

«Ваше высочество, — пишет она, — вы можете сделать мою преданность вам беспредельной. Это не фраза, это серьезные слова. Я не могу одобрять вашей политики, она страшит меня и за себя, и за вас. Но вас я могу любить, должна любить, я говорю это всем, кого уважаю. Заставьте и других так же, как и меня, оценить вас. Это легко сделать.

Никакой уважающий себя человек не променяет своего идеала равенства на идеал монархический. Но всякий человек с сердцем, к которому вы будете справедливы и милостивы, вопреки государственным соображениям, не позволит себе проклинать ваше имя и клеветать на ваши чувства. За это я отвечаю, во всяком случае по отношению к тем, на кого я имею некоторое влияние. Итак, во имя вашей собственной популярности, я еще раз молю вас об амнистии; не верьте тем, в интересы которых входит клевета на человечество; оно развращено, но не очерствело. Если несколько неблагодарных и не сумеет оценить ваших благодеяний, зато эти благодеяния создадут вам тысячи искренних сторонников. Если сердца безжалостные и осудят вас, зато вы будете любимы и поняты всеми честными людьми, независимо от их партийности.

Я единственный социалист, лично преданный вам, несмотря на все удары, нанесенные моим верованиям. Одну только меня не пытались утратить; и я, нашедшая в вашем сердце только доброту и чувствительность, не стыжусь на коленях умолять вас о милости к моим друзьям».

Такие и подобные письма, обращенные к столь высоко стоящей особе, не могли оставаться тайными. Они примирили с Жорж Санд представителей новой аристократии и создали ей многолетнюю дружбу с графом д'Орсэ и принцем Жеромом Бонапартом. Часть буржуазных друзей примирилась с ее крайними убеждениями, которые перестали являться препятствием к общению, так как уже окончательно не обязывали ни к каким конкретным действиям. Часть же их, как графиня д'Агу, выступившая с «Историей революции 48-го года» под псевдонимом Даниэля Стэрна, еще долго преследовала сарказмами и уколами так бесславно закончившуюся политическую карьеру Жорж Санд. Наиболее морально неустойчивым узникам и изгнанникам, освобожденным по представлению Жорж Санд, не оставалось ничего иного, как благоговейно

преклоняться перед ее заступнической деятельностью. Но была и другая группа — непримиримых. Гнев, запреты, ирония, памфлеты сыпались из уст и из-под пера людей, которые не приняли бы никаких благ, купленных столь унижительной ценой.

Как ни льстили Жорж Санд благодарности и восторги, сыпавшиеся на нее со всех сторон, как ни радовалась она своей простодушной радостью счастьем семейств, которым сумела возратить мужей, сыновей и братьев, — она не могла оставаться равнодушной к другим голосам, которые заглушенно доходили до нее из-за тюремных стен и со страниц эмигрантской прессы. Передовая женщина XIX века была еще слишком полна сил, чтобы без боли согласиться принять звание рядового гражданина империи. Чутье ей подсказывало, что борьба еще не кончена и что тем, кто присоединился к победителю, предстоит в будущем стать побежденным. Революционное прошлое обязывало ее. В ней не было ренегатских тенденций, толкающих иного человека к всенародному сожжению своих прежних верований. В течение своей долгой и пестрой жизни она ни разу не отказалась от каких бы то ни было прошлых высказываний и стремилась всегда к внутреннему миру. Крайних выводов она не делала никогда и не сжигала кораблей. На этот раз крайние выводы тоже не были сделаны. Сближение ее с президентом не пошло дальше заступничества, а после переворота 52-го года, после провозглашения президента республики императором она сумела с большим тактом на тормозах остановить свою возможную придворную карьеру.

Близость с принцессой Матильдой и принцем Жеромом, основанная на общности художественных интересов, не пятнала ее революционной чести; ее краткое знакомство с императором имело достаточно возвышенное оправдание. За ней оставалось право свободной критики. Социалистический идеал жил неомраченный в ее душе.

Она писала своему другу издателю Гетцелю:

«Я думала, что мы должны переносить спокойно и с верой в провидение временную диктатуру, явившуюся следствием наших собственных ошибок. Я надеялась, что можно приблизиться к всемогущему человеку, чтобы вымолить у него жизнь и свободу нескольких тысяч жертв. Этот человек оказался доступным и гуманным. Он говорил со мной долго и с такой искренностью, что я смогла разгадать в нем его добрые инстинкты и стремление к целям, общим с нашими целями. Вот и все мои отношения с представителем власти, которые выражаются в нескольких просьбах, беседах и письмах.

В награду мне говорят и пишут со всех сторон: «Вы компрометируете

себя, вы губите себя, вы обещены, вы бонапартистка!» Я знаю, что президент отзывался обо мне с большим уважением и что это рассердило его приближенных. Я знаю, что многим не понравилось его согласие на мои просьбы. Я знаю, что если перегрызут горло ему, то перегрызут горло и мне, что весьма вероятно. Я знаю также, что всюду распространяют слухи о том, что я не выхожу из Елисейского дворца и что красные со свойственным им доброжелательством поддерживают версию о моей низости. Я знаю, наконец, что при первом же событии с той или другой стороны протянется рука, чтобы задушить меня. Это меня несколько не пугает, уверяю вас, я шла на это.

Но это внушает мне глубокое презрение и глубокое отвращение к партийной морали, и я от всего сердца прошу не у президента (которому до этого нет дела), а у бога, в которого я верю крепче, чем многие другие, своей политической отставки».

Глава четырнадцатая

Сельская тишина

В 1852 году политическая и публицистическая деятельность Жорж Санд окончилась. Она, как утомленный лоцман, обошедший в течение своего долгого плавания многие камни, рифы и мели, увидела перед собой наконец желанный и столь много раз грезившийся ей ноганский берег. Там все оставалось по-прежнему, и беррийские поля, как блудного сына, принимали с особенной лаской усталую странницу. В старом доме по-прежнему бабушкины книги звали к тихим минутам углубленного чтения, сад и хозяйство нуждались в управлении опытной руки, Морис только и мечтал о том, чтобы получить в свое полное распоряжение обожаемую им мать. Не было больше тревоживших покой людей: Соланж появлялась в Ногане только изредка, уйдя с добродетельного пути, начертанного матерью, на путь острых чувств и необычайных приключений. Жорж Санд сумела вырвать ее из своего сердца, как она умела это делать по отношению ко всем непокорным. Шопен и Мюссэ умерли, и она могла вспоминать о них с лаской и всепрощением. С политикой и публицистикой было покончено.

Мощная натура Жорж Санд не страшилась надвигающейся старости и не ощущала ущерба, нанесенного ей прожитыми годами и многочисленными разочарованиями. Бесстрастие и экономное распределение интересов и сил застраховали ее от жизненного краха. Природу, науку, писательство, благотворительность, философию и семью у нее не отняла революция, и императорская власть на них тоже не покушалась. Бунтующий великий Жорж мог по справедливости наконец оценить те блага, против которых некогда восставал мало практический Корамбе. Все, за чем шла Жорж Санд, покорная велениям своего беспокойного века — индивидуализм, отрицание церкви, заявление личной свободы, социализм, республиканство и страсть, — все изменило ей и все рассеялось, как дым. Верными остались ей наследство аристократических Дюпэнов де Франкейль, ноганская ферма и узаконенная веками буржуазная добродетель.

Несмотря на замужество племянницы Огюстины и дочери Соланж, дом не был опустошен. Морис, во всех отношениях похожий на мать, унаследовал от нее и легкость, с которой она сближалась с людьми, и

способность к излияниям, дающим толчок к скороспелой дружбе, и любовь к благодетельствованию, которая притягивает к себе так много людей. У Жорж Санд оставалось несколько старых друзей, а ее снисходительность позволяла всем, кому этого только хотелось, вторгаться в ее жизнь. Ее немеркнущая, благодаря неустанной работе, слава привлекала в дом толпу поклонников и любопытных, которые при помощи некоторой безобидной лести и ученической покорности быстро делалась ближайшими друзьями и постоянными посетителями. Ближайший друг Мориса Ламбер, молодая мадам Дюверне, Мансо, новый опекаемый друг Жорж Санд, оживляли своей молодостью долгие вечера. Восстановились кое-какие остывшие литературные связи, и равнодушный к политике Сент-Бев вновь вступил в оживленную корреспонденцию со стареющей Лелией. Молодые литературные школы приветствовали в лице Жорж Санд славу романтической эпохи. Флобер и Дюма-сын охотно принимали ее материнские советы и добродушное товарищество. Благодушные и помещицье хлебосольство превратили Ноган в литературно-богемную резиденцию, куда можно было являться запросто, не вооруженным ни светским лоском, ни изяществом манер, в ленивом состоянии человека, жаждущего отдыха, сытого стола и веселой шутки.

По вечерам молодежь во главе с Морисом устраивала спектакли марионеток, и это незатейливое развлечение увлекло Жорж Санд, как и все, что носило на себе печать беззлобной радости, которую она считала необходимым условием и физического, и морального здоровья. Дни проходили в хозяйственных заботах, свободные часы отдавались дилетантским занятиям науками, начиная с астрономии и кончая ботаникой, а ночью, как всегда, с аккуратностью выверенного добротного механизма Жорж Санд выполняла свой литературный урок.

Ее творческая активность оставалась прежней, а гибкость ее натуры позволила ей бесперебойно перейти к новым художественным темам. Последний период своей деятельности она большей частью посвящает деревенским повестям, находя теперь после разочарований 48-го года свой идеал не в городском пролетариате, а в скромном, прилежном, честном деревенском бедняке, не разращенном пагубным влиянием городской культуры. «Маленькая Фадетта», «Звонари», «Чертово болото» написаны в мирных идиллических тонах, вполне созвучных примиренному настроению автора и свидетельствуют о том, что идеальная вера в торжество христианства и социализма оставалась по-прежнему живой.

Марионетки Мориса натолкнули ее на мысль о театре, к которому она издавна тяготела.

Театральное искусство, в самой своей сущности требующее от мастера подобранности, четкости и самоограничения, было самой чуждой формой для расплывчатого и недисциплинированного вдохновения Жорж Санд. Однако буржуазное общество Второй империи ничему так не радовалось, как добродетельной пасторали, уводящей ее от всяких остро поставленных вопросов дня. Добрые крестьяне в новой пьесе Ж. Санд «Найденьш», наказанный порок в лице Нина, героини «Домашнего демона», и сверхвозвышенная любовь переделанного в пьесу «Мопра» вызвали бури восторгов. Слава, как верная служанка, и на этом поприще ни на миг не отступала от Жорж Санд. Пятидесятипятилетняя писательница, сделавшись драматургом, могла по справедливости сказать, что испробовала все виды литературы и во всех оказалась победительницей. Среди признаний, восторгов самых свободомыслящих критиков и молодых писателей, как Дюма и Золя, диссонансом звучит только трезвый голос дружелюбного, но не ослепленного Делакура, отмечающего в своем дневнике:



«Отсутствие драматического таланта, удачные слова, но все слишком добродетельны. Хорошее начало, в середине затяжка, убийственно добродетельные крестьяне, отсутствие вкуса».

Но театральные успехи, так же как и путешествие в Италию в 1855 году, являются для Жорж Санд только случайными вылазками из блаженного погружения в сельскую тишину, которую она сама воспринимает как окончательную и законченную форму последнего периода своей жизни. Все ее душевные устремления направлены к той

благостной тишине, которую она наконец обрела. В своих сельских романах — «Маленькой Фадетте», «Чертовом болоте» и других — она чувствует себя в своей настоящей творческой сфере и не хочет уходить от этих тем.

Скинув с себя обязательства ведущего борца своего времени, она начинает чувствовать себя простой и незатейливой помещицей, любящей неуглубленной любовью низко кланяющихся ей крестьян и свои собственные плодородные поля. Мотивы, толкавшие ее на протест против собственных органических классовых свойств, перестали существовать, и она с блаженной ленью усталого после напряженной игры актера смыла с себя трагический грим и увидела в зеркале собственное простодушное лицо.

Перерастить свою классовую сущность ей, яркой представительнице мятущегося девятнадцатого века, не удалось, и истинным художником она могла быть только в той сфере, которая была в полной гармонии с ее основными склонностями.

Сама жизнь, казалось, шла навстречу самым задушевным ее желаниям и вкусам. Морис ввел в дом своего друга Мансо, с которым познакомился в художественной студии Делакура. Человек самого скромного происхождения, добрый, бескорыстный и простоватый, он соединял в себе все качества, которых Жорж Санд всегда настойчиво искала в своих друзьях. Мансо обладал прекрасным покладистым характером и ценной способностью оставаться в тени. Никакие честолюбивые мечты не толкали его к утверждению собственной личности и заявлению своих прав. К тому же он был одарен в высокой степени способностью к обожанию и преданности.

Именно такой друг был всегда идеалом Жорж Санд. Мансо разделял все ее вкусы или, быть может, стал их разделять, естественно стремясь во всем уподобляться предмету своего обожания.

Введенный Морисом в дом матери, он остался в этом доме на правах первого друга до самой своей смерти.

Вместе с Мансо Жорж Санд могла отдаваться своей страсти к тихим прогулкам по окрестностям Ногана, ботаническим изысканиям, астрономическим наблюдениям и поискам поэтических уголков природы.

В совместных странствованиях по берегам Крезы Мансо и Жорж Санд отыскивали деревушку Гаржилес, которая представилась им идеальным сельским убежищем, куда не доходил даже тот ноганский семейный шум, от которого Жорж Санд иногда хотела отдохнуть. На берегу реки в полном одиночестве со своим новым другом стареющая Жорж Санд в последний

раз пережила идиллию, которую надеялась некогда осуществить в Венеции и на Майорке. Маленький домик, выстроенный по плану Мансо, принял под свой гостеприимный кров поэтических друзей. Сюда на неделю или на две они убегали от житейских утомлений и переживали минуты истинного счастья.

«Великий художник, любящий деревню, — пишет она, — когда-нибудь да мечтал о том, чтобы окончить свои дни в условиях жизни, упрощенных до сходства с пасторалью, и всякий светский человек, наделенный практическим умом, смеется над мечтой поэта и презирает сельский идеал. Однако в этом идеале есть таинственное притяжение и человеческий род можно подразделить на две категории: на тех, кто в своих задушевных мечтах строит себе дворцы, и на тех, кто грезит о хижинах».

Счастливая звезда, приведшая в Ноган Мансо, указала дорогу и другому человеку, роль которого оказалась не менее значительной для полноты счастья Жорж Санд. В 62-м году Морис Санд, холостая жизнь которого тревожила озабоченную семейным благополучием ноганскую помещицу, объявил матери о своей скорой женитьбе. Дочь художника Каламатты Каролина в той же степени, что и Мансо, воплощала в себе давно отыскиваемый идеал. Ее ровный характер, ее деловитость, ее скромные, но приятные музыкальные способности, отсутствие резких суждений и добродушие позволяли справедливо надеяться на то, что Мориса не ожидают в будущем никакие семейные бури. Не о чем ином Жорж Санд и не мечтала для своего возлюбленного сына. Лина Санд без критики и простодушно присоединилась к обожанию, которым Мансо и Морис окружали ее свекровь.

В ноганском доме воцарилось полное счастье, подобное тому, которое встречается в эпилогах романов со счастливым окончанием. Жорж Санд сама любила эти окончания и судьба не обманула ее простодушной доверчивости.

Даже печальные события, смерть любимого внука и Мансо, уже не могли нанести серьезных ран этому заключенному в броню оптимизма сердцу. В жизни ее было слишком много спокойных радостей, чтобы она могла не найти утешения от каких бы то ни было потерь. Театр марионеток Мориса ежевечерне, несмотря даже на печаль, царившую иногда в доме, изображал ей придуманные жизненные драмы деревянных человечков без сердца и крови. Драмы эти были по большей части чувствительны. Морис был большим мастером своего дела, и игра марионеток бывала так реальна, что иногда исторгала у его матери слезы. Эти слезы была последняя дань, которую она отдавала своему другу Корамбе.

«У меня очень утешительные и даже веселые мысли о смерти, — писала она Дюма, — и я надеюсь, что заслужила себе счастья в будущей жизни. Я провела многие часы своей жизни, глядя на растущую траву или на спокойные большие камни при лунном свете. Я так сливалась с существованием этих немых предметов, которые считают неодушевленными, что начинала ощущать в себе самой их тихую усыпленность. И внезапно в минуты такого отупения в моем сердце пробуждался восторженный и страстный порыв к тому, каков бы он ни был, кто создал эти две великие вещи: жизнь и покой, деятельность и сон. Эта вера в то, что всеобъемлющий больше, прекраснее, сильнее и лучше каждого из нас, позволяет нам пребывать в мечте, которую вы называете иллюзиями молодости, а я называю идеалом, то есть способностью видеть истину, скрытую за видимостью жалкого небесного купола. Я оптимистка вопреки всему, что выстрадала, это, быть может, мое единственное качество. Вы увидите, что придете к тому же. В ваши годы я также мучилась и болела физически и морально. Но в одно прекрасное утро я сказала себе: «Все это мне безразлично. Вселенная велика и прекрасна. Все, что мы считаем очень важным, преходяще и об этом не стоит думать. В жизни есть только две-три истины, важные и серьезные, и именно этими истинами, такими ясными и простыми, я пренебрегла, не понимая их. Mea culpa. Я была наказана за свою глупость, я страдала столько, сколько только можно страдать; я должна быть прощена. Примиримся же с господом богом».

С того момента, как в 1871 году была провозглашена республика, дело человечества казалось ей тоже выигранным. Провозглашение коммуны она восприняла, как трагический досадный эпизод, как последний взрыв дурного характера возлюбленного французского народа. Тьер, «мудрый педагог», укротил бунтующих. Она приветствовала новое республиканское буржуазное правительство и успокоенная уходила из жизни, убежденная, что новая республика поведет Францию по пути прогресса. Общественное благополучие было достигнуто, так же как и благополучие личное. Французский народ она оставляла в верных руках.

Суждение Жорж Санд о коммуне вызвало гнев многих бывших ее друзей-радикалов; к этому гневу она оставалась равнодушной и не стремилась оправдаться. Ей казалось, что ее убеждения, оставаясь по существу прежними, вылились в такую стройную систему, которую уж не в силах разрушить какой бы то ни было человеческий суд. Она привыкла к потерям друзей; их уносили смерть и изгнание; если иные уходили от нее по недостатку взаимного понимания — она примирялась и с этим. Она

утешалась тем, что вновь встретится со всеми в лучшей жизни, где будут наконец разрушены все партийные преграды.

А в здешней жизни у нее оставался Ноган, большая гостиная в стиле Людовика XVI, сохранившаяся в неприкосновенности со времен бабки, круглый стол, вокруг которого садилась по вечерам ее семья и новые друзья. Гости играли в домино, рисовали, читали новые романы Флобера, рассуждали о пьесах Дюма. Лина Санд шила платья своим дочерям. Из соседней комнаты доносился смех детских голосов. Внучки прибегали и бросали бабушке на колени своих кукол, которым она кроила миниатюрные наряды. В камине трещал сверчок и песня очага.

Глава пятнадцатая

Последние дни

Ясность заката ничем не нарушалась. Семейные горести быстро залечивались, а общественные события, давая пищу уму и творчеству, перестали задевать сердечные струны. Ужасы войны и голода 70-го года почти не коснулись тихого Берри. Жорж Санд оплакала вместе со всеми своими друзьями военные поражения Франции. Она больше не была в силах черпать в своем успокоенном сердце протеста и не искала больше славы оригинальных и смелых суждений. Она покорно шла туда, куда вело ее общественное мнение дружественных ей буржуазных кругов. Работоспособность ее оставалась прежней и свое творчество она отдала всецело на служение ходовым патриотическим идеалам. Она проклинала немцев, приветствовала возрождение республики и в течение короткого времени торжества коммуны называла коммунаров вандалами.

Кровавая расправа над деятелями Коммуны не исторгла у нее ни слез, ни сожалений, она обошла молчанием гибель многие тысяч пролетариев, с которыми некогда думала идти нога в ногу к социализму.

Ей было семьдесят лет. Ей хотелось покоя и благополучия.

Из всех мучительных ядовитых человеческих чувств сохранилось только одно чувство — недоброжелательство к двум людям, которым до последних своих дней, при всей своей всеобъемлющей доброте, Жорж Санд не могла простить причиненных ей страданий. Эти люди были ее дочь Соланж и Проспер Мериме. У нее не было острого чувства ненависти, она хотела бы простить их, но последние остатки некогда страстного самолюбия продолжали жить в успокоенном сердце. Она не разжигала этого чувства, она старалась не думать о них.

Друзья, как могли, заботливо ограждали ее от этих неприятных встреч.

Смертельная болезнь застала Жорж Санд за работой. Она писала свой последний роман «Альбину», который так и не успела окончить. Болезнь ее длилась десять дней и агония была мучительной. Она простилась со своими внучками и почти никого к себе не допускала. В последние дни она перестала говорить, сознание ее было затемнено. Накануне смерти она неясно произнесла слова: «Оставьте зелень».

Дочь ее Соланж, извещенная о болезни матери, до последней минуты оставалась у ее изголовья. Жорж Санд не обменялась с ней ни словом. Она

отвертывалась к стене, испытывая тяжкие страдания.



Несмотря на летнее время шел мелкий дождь и было холодно. За несколько часов до смерти Жорж Санд во двор ноганской усадьбы вошел черный худенький человечек в сутане и широкополой шляпе. Это был местный священник. Он вызвал для переговоров мадам Соланж и долго шептался с ней, гуляя по взмокшим аллеям парка. Мадам Соланж дружелюбно простилась с ним и обещала свое содействие.

Восьмого июня 1876 года, в половине десятого утра, Жорж Санд умерла. Многочисленные родственники, Морис, Соланж, Лина Санд, Симмонэ, родственники ее матери Казамажу стояли вокруг ее постели. С каждым часом из окрестностей и Парижа прибывали новые и новые люди. Приехали Дюма, Флобер, Леви и Ламбер. Никто не сомневался в том, что похороны будут гражданские. Дюма готовил надгробное слово, старик Виктор Гюго прислал написанную им пышномногословную оду на смерть своей романтической соратнице.

Между тем, местный аббат Вильмон обменивался телеграммами с архиепископом Буржа. Архиепископ Буржа разрешил раскрыть перед гробом Жорж Санд церковные двери.

Прибывшие из Парижа на гражданские похороны друзья подходили к гробу. На черном покрове тускло блестел серебряный крест. Лицо умершей было закрыто цветами. Гроб подняли и понесли. Впереди, борясь с дождем и ветром, шел черный аббат с зажженной свечой. Он несвязно бормотал молитвы. С ноганской колокольни доносился похоронный звон.

Жительницы Ногана в черных траурных чепцах выходили из домов и присоединялись к процессии. Среди других почетных друзей принц Жером Бонапарт нес одну из тяжелых серебряных кистей гроба.

Глава шестнадцатая

Заключение

В 1904 году в Ногане в день столетнего юбилея со дня рождения при огромном стечении народа был открыт памятник Жорж Санд. В этот день буржуазная Франция канонизировала писательницу, долгое время считавшуюся насадительницей развращающих идей. К этому времени большинство этих идей уже вросло в сознание широких масс и перестало казаться кому-либо опасным и революционным.

Одни только представители католической церкви продолжали хранить опасливое недоброжелательство к имени Жорж Санд и не могли простить ей того ущерба, какой она нанесла авторитету церкви своими произведениями; в папской энциклике начала XX века, перечисляющей те сочинения, которых не должен читать добрый католик, одно из первых мест принадлежит сочинениям баронессы Дюдеван. Церковные авторитеты в сознании своей обреченности злопамятно относились к своим противникам, но устаревший либерализм Жорж Санд уже не мог казаться опасным французской буржуазии, ставшей лицом к лицу с новыми формами социальных отношений. В лице Жорж Санд чествовали прежде всего художника и одно из славнейших имен романтической эпохи.

В сознании советского читателя историческая роль Жорж Санд далеко не исчерпывается ее чисто-художественными достоинствами; они и для нее самой никогда не служили краеугольным камнем ее деятельности. Оставаясь всегда чуждой принципу ранних романтиков «искусство для искусства», она одна из первых осознала социальный долг писателя. Широтой ее тем, отзывчивостью на все вопросы современности и объясняется то громадное влияние, какое она оказала на XIX век. Выступив на литературном поприще с проповедью женского равноправия и с критикой законов буржуазной католической семьи, она не остановилась на этом первом этапе своей деятельности. Утопический социализм, сделавшийся ныне достоянием истории, в 30-е годы сыграл огромную революционную роль. Социальные романы Жорж Санд — «Мельник из Анжибо», «Грех господина Антуана», «Орас» — дали широкое распространение идеям сен-симонистов, превращая кабинетные теории в достояние масс. Что касается ее народнических тенденций, то Жорж Санд можно считать стоявшей совершенно особняком, среди представителей

французской литературы XIX века.

Первый и третий этапы ее деятельности составляют ее истинную славу: ее проповедь женской эмансипации и ее народные повести дают ей неизмеримо большее право на внимание советского читателя, чем ее политическая деятельность. В политической борьбе она не выдвинулась из рядов средних буржуазных либералов, и значение исторического момента 48-го года ей осталось неясным. Слишком искренняя и честная по натуре, чтобы примириться с остротой социальных противоречий, она не может перерасти свое классовое дворянское сознание, и в поисках идеологии, способной примирить ее дворянскую сущность с остро поставленными политическими и социальными вопросами, она оказывается бессильной и терпит поражение. Роль ее в области социалистических идей XIX века свелась таким образом к популяризаторству, к распространению идеи сенсимонистов и Леру, не неся в себе ничего новаторского, смелого и оригинального. Жорж Санд, которую многие историки литературы охотно называли «эхом идей XIX века», была действительно таковым в вопросах социальных и политических.

В области художественной формы и стиля Жорж Санд также не является основательницей новой школы, а лишь повторяет уроки, преподанные ей ее современниками и предшественниками романтизма. Воспитанная на чтении Руссо и Шатобриана, соратница Виктора Гюго и Ламартина, она до конца своих дней сохраняет устаревшие ныне приемы романтической школы. Приподнятость тона, длительность периодов, обилие прилагательных, отсутствие плана изобличают основную заботу автора — как можно полней высказать себя. В этом непрестанном самоисповедании резко обозначается влияние Руссо и Шатобриана, та индивидуалистическая устремленность, которая дала на протяжении XIX века ряд литературных образов — людей, заедаемых анализом, начиная с Чайльд Гарольда и кончая тургеневским лишним человеком.

Это стремление к усилению впечатления путем повторений зачастую переходит в многословие, которое утомляет читателя и в котором не выступают, а, напротив, тонет фабула и план. Отмечая эту особенность манеры Жорж Санд, Дюма-сын иронически заметил, что «Лелия» есть не что иное, как «байронизм, продаваемый на вес».

В этой верности приемам ранних романтиков быть может и следует искать причину того, что произведения Жорж Санд, несмотря на попадающиеся местами блестящие страницы, так мало читаются теперь и так скоро были в массе преданы забвению.

Лишь к пятидесятым годам зарождающийся в литературе реализм внес

некоторые поправки в писательскую манеру Жорж Санд. Конкретность формы, точность определений, выпрямление фабулы отразились в последних и лучших произведениях Жорж Санд, в которых чувствуется влияние великих мастеров реализма — Флобера и Бальзака. Это был как раз тот момент, когда Жорж Санд вступила в последний народнический этап своей литературной деятельности. Для нее, как писателя, этот период был наиболее плодотворным и в формальном, и во внутреннем отношении.

Разочарованная в городской культуре, утратившая свои политические надежды, Жорж Санд соединяет в себе в этот период своего творчества все типические черты «кающейся дворянки», столь хорошо известные читателю по произведениям русских романистов 60-х годов. Непризнание индустрии, идеализация сельского труда, противопоставление прилежного трудового крестьянства сельскому кулаку, подражающему городским обычаям, прославление дворянского самоотречения — вот основные черты Жорж Санд-народницы. По своему духу эти повести как бы воскрешали старый давно забытый стиль сельских идиллий и создавались, быть может, не без влияния известного романа Бернардена де Сен-Пьер «Павел и Виргиния». Но, оставаясь по форме и на этот раз только подражательницей, Жорж Санд влила в свои сельские повести такое полноценное содержание, которое сентиментальную идиллию превратило в значительное в литературном и общественном отношении произведение. Долгий писательский опыт, развитая наблюдательность, непосредственная близость с описываемыми людьми придали этим идиллиям значительную долю правдивости и эмоциональной насыщенности. Явная идеализация крестьянской среды не уничтожила правдивости в описании быта, тонко подмеченных характеров, ясности фабулы. В соединении с упрощением и очищением стиля все эти качества создали сельским произведениям Жорж Санд славу, тем более значительную, что в своей стране она была первым писателем-народником.

В русской культуре XIX века влияние идей Жорж Санд несомненно и значительно. Жорж Санд художник и Жорж Санд народница имела в России в свое время ту же славу и то же значение, что и во Франции. На ее произведениях воспитывались поколения 50-х и 60-х годов и признание ее роли и влияния засвидетельствовано Тургеневым, Белинским, Достоевским и Герценом. Зачитывались в свое время в равной степени и «Лелией», и «Орасом», и «Маленькой Фадеттой». Известность ее равнялась известности Вольтера или Толстого, и были поклонники, называвшие XIX век «веком Жорж Санд».

Историческая перспектива позволяет теперь отметить истинное место,

занимаемое Жорж Санд в истории русской культуры, не снижая и не преувеличивая ее значения. Две линии этого влияния совершенно четко вырисовываются в последней половине XIX века в России. Жорж Санд народница и Жорж Санд борец за эмансипацию женщины — этим главным образом исчерпывается ее культурно-историческое значение. Представители зарождающегося русского социализма и народничество восторженно приняли произведения художественно и популярно излагающие идеи, которыми была охвачена передовая русская интеллигенция. Непосредственность, простодушие и убежденность, с какой Жорж Санд описывала своих идеальных героев, заставили Белинского сказать о ней: «Жорж Санд — это бесспорно первая поэтическая слава современного мира. Каковы бы ни были начала ее, с ними можно не соглашаться, их можно не разделять, но ее самой нельзя не уважать как человека, для которого убеждение есть верование души и сердца».

Салтыков-Щедрин, Григорович, Тургенев все пережили эпоху увлечения Жорж Санд и признавали на себе ее влияние. Сельские романы Григоровича и «Записки охотника» Тургенева были несомненно созданы под впечатлением сельских повестей Жорж Санд. Рудин, повторяющий в русском преломлении Ораса, носит на себе печать влияния Жорж Санд, столь во многом близкой характером и восприятиями Тургеневу. Имя ее теснейшим образом сплелось с историей развития русской интеллигенции и, так же как и во Франции, являлось для жандармского официального мира синонимом развращенности и бунтарства.

В вопросах женской эмансипации роль ее была еще значительнее. Во Франции, где для женщин не существовало гражданских прав, где лишенная права выборов, права занятия общественной должности, права на высшее образование, лишенная даже права управления имуществом в собственной семье, женщина была сведена к роли в лучшем случае опекаемого ребенка, а в худшем — домашней прислуги, проповедь Жорж Санд имела огромное революционизирующее значение. Положение женщины в самодержавной России мало чем отличалось от ее положения в католической Франции. В обеих странах женщина если и выступала на общественном поприще, то это поприще было ограничено обычно рамками искусства, чаще всего салонного порядка. Во Франции писательницы, как Марселина Деборд Вальмор или м-м де Сталь, несмотря на подлинную славу, окружавшую их имена, оставались всегда только исключениями и не смели поднять голоса во имя узаконения своих как бы случайно заработанных прав. Такой же была судьба и русских писательниц, как Каролина Павлова и Растопчина, оставшихся в истории литературы только

авторами талантливых салонных произведений. Жорж Санд первая пробила брешь в этой каменной стене, ограждающей женщину от общественной жизни. Вопросы о чувстве, о свободе выбора, о праве женщины на самостоятельную общественную и научную работу — вопросы, затронутые в первых произведениях Жорж Санд, получили небывалый отклик именно в России. «Полинька Сакс», роман Чернышевского «Что делать», «Кто виноват» Герцена являются разработкой вопроса, впервые поставленного Жорж Санд. Женское движение 40-х и 50-х годов, сопровождаемое улюлюканьем и насмешками реакционной прессы, получило название жорж-сандизма.

Охранители основ самодержавной России, как и французское буржуазное общество, сразу почувствовали в Жорж Санд опасного врага. Булгарин на страницах «Северной пчелы» в 1848 году, прибегая к своим обычным гаерским приемам, старался клеветой и насмешкой развенчать образ женщины, влияние которой становилось значительным и опасным. В России так же, как и во Франции, отцов семейств предостерегали от романов Жорж Санд, грозящих разрушить их семейное благополучие.

Героини русского революционного движения, женщины, выступающие на научном поприще, в борьбе за право на высшее образование, за гражданственность, все эти участницы длительной борьбы женщин за эмансипацию не могут быть полноценно исторически освещены, если мы не упомянем имени Жорж Санд. Для современной советской женщины, получившей после Октябрьской революции полное равенство, значение Жорж Санд сделалось достоянием истории, но имя ее должно сохранить свое обаяние. После победы нельзя не помянуть главных участников сражения.

Библиография

Владимир Каренин. Жорж Санд, ее жизнь и произведения, СПб., 1899, 1916 гг.

Цедрикова. Жорж Санд («Отечественные записки» 1877 г. июнь — июль).

Скабичевский. Статьи о Жорж Санд («Отечественные записки» 1881 г.).

Emile Faguet. Dix-neuvieme siecle. George Sand. Paris 1898.

G. Sand. Histoire de ma Vie.

G. Sand. Correspondance.

Sporloerch de Lovenjoul. Les Iundis d'un chercheur. Paris 1894 Calmann-Levy.

Список произведений Жорж Санд

Rose et Blanche ou la comedienne et la religieuse. 1831.

Indiana. 1832.

Valentine. 1832.

Lelia. 1833.

Le secretaire intime. 1834.

Jacques. 1834.

Lettre d'un voyageur. 1834.

Andre. 1834.

Leone Leoni. 1835.

Simon. 1836.

Mauprat. 1837.

Contes venitiens. 1838.

L'Uscoque. 1839.

Spiridion. 1839.

Gabriel. 1840.

Les sept cordes de la lyre. 1840.

Cosima ou la haine dans l'amour. 1840.

Le compagnon du tour de France. 1840.

La petite Fadette. 1840.

Pauline. 1841.

Un hiver a Mayorque. 1842.

Horace. 1842.

Consuelo. 1842.

La comtesse de Rudolstadt. 1843–1845.

Jeanne. 1844.

Le meunier d'Angibault 1845–1846.

La mare au diable. 1846.

Isidora. 1846.

Teverino. 1846.

Lucrezia Floriana. 1847.

Le peche de M. Antoine. 1847.

Le Piccinino. 1848.

Lettres au peuple. 1848.

Francois le Champi. 1849.

Claudie. 1851.

Le demon du foyer. 1852.
Metella. 1852.
La Fillieule. 1853.
Les maitres sonneurs. 1853.
Procope le Grand. 1853.
Adriane. 1854.
Flaminio. 1854.
Histoire de ma vie. 1854–1855.
Maitre Favilla. 1855.
Evenor et' Leucippe. 1856.
Franchise. 1856.
Lucie. 1856.
Le voyage a Mayorque. 1856.
Les amours de l'age d'or. 1856.
Daniella. 1857.
Le diable au champ. 1857.
Les beaux messieurs des Bois-Dores. 1858.
Legendes rustiques. 1858.
Elle et Lui. 1859.
Garibaldi. 1859.
La guerre. 1859.
L'Homme de neige. 1859.
Marguerite de Sainte-Gemme. 1859.
Narcisse. 1859.
Constance Verrier. 1860.
Jean de la Roche. 1860.
Promenades autour d'un village. 1860.
La famille de Germandre. 1861.
Le marquis de Villemer. 1861.
Valvedre. 1861.
La ville noire. 1861.
Autour de la table. 1862.
Le pave. 1862.
Souvenirs et impressions litteraires. 1862.
Tamaris. 1862.
Antonia. 1863.
Les dames vertes. 1863.
M-lle la Quintinie. 1863.
Confession d'une jeune fille. 1865.

Laura. 1865.
Flavie. 1866.
M-r Silvestre. 1866.
Le dernier amour. 1867.
Cadio. 1868.
M-lle Merquem. 1868.
Lautre. 1870.
Le beau Laurence. 1870.
Malgre tout. 1870.
Pierre qui roule. 1870.
Cesarine Dietrich. 1871.
Francia. 1872.
Nanon. 1872.
Impressions et souvenirs. 1873.
Contes d'une grand'mere. 1873.
Ma soeur Jeanne. 1874.
Les deux freres. 1875.
Flamarande. 1875.
La coupe. 1876.
La tour de Percemont. 1876.
Souvenirs de 1848. 1880.
Correspondances de 1812–1876. 1882–1884.
Lettres к Alfred de Musset et a Saint-Boeuve. 1897.

Драматические произведения

Le mariage de Victorine. 1851.
Francois le Champi. 1853.
Moliere. 1851.
Mauprat. 1853.
Les beaux messieurs des Bois-Dores. 1862.
Le theatre de Nahant 1864.
Le Drac. 1864.
Le marquis de Vilelmer. 1867.

Венкстерн Наталья Алексеевна

Родилась 21 октября 1891 года в семье писателя и переводчика Л.А.Венкстерна, с детства увлекалась литературой и театром, писала

рассказы, пьесы.

В 1914–1928 годах работала в ГМИИ помощником библиотекаря.

Пьеса "В 1925 году" была поставлена во МХАТе 2-ом к 100-летию восстания декабристов, на основе инсценировок во МХАТе были поставлены спектакли "Пиквикский клуб", "Домби и сын", "Вторая любовь" (совместно с Мальцевым).

В расчете на молодых актеров МХАТ была написана пьеса "Вторая любовь" — инсценировка романа Елизара Мальцева "От всего сердца" из колхозной жизни (1950). В том же году ее поставила в Театре им. Ленинского комсомола Гиацинтова.

Ушла из жизни в 1957 году

notes

Примечания

1

Революционная газета, сотрудники которой были заключены в тюрьму после избрания Наполеона III президентом республики.